

НА МОХНАТОЙ СПИНЕ¹

Роман

Она пришла

Мне пятьдесят девять лет. Я ответственный работник Наркомата по иностранным делам. Меня ценят и уважают. Я спятил. Я влюбился в девушку своего сына.

Он впервые привел ее в дом не в самый удачный день.

Я устал за сентябрь, как белка в сломанном колесе, но это бы ладно; хуже то, что наши долгие отчаянные усилия, так похожие на попытку остановить танк руками, завершились тем, к чему все, кроме нас, и стремились. Танк попер. Еле руки успели отдернуть.

Я люблю уставать.

Сызмальства помню: бездонная синева по осени горит, подоженная ослепительно сухим и жестким солнцем; солнце клонится к дальнему лесу, а ты, закинув за голову руки, блаженно валяешься на земле и смотришь в синеву, как равный. Ведь выкопана и разложена вся картошка, и сметенная в стожок ботва (в наших краях ее почему-то называют тинной) ждет огненного превращения в плодоносную золу.

Тело, жаждущее вкалывать, но с пользой, пронесло память об этом счастье сквозь кровь и голод, партконференции и диппредставительства и хочет, чтобы снова, чтобы так всегда. Просто, и ясно, и полно смысла. Труд и его плоды.

А когда труды бесплодны, тоска раздирает так, что хоть душу вырви и кинь в помойку. От бессилия перестаешь быть взрослым, хочется прижаться к маме и заплакать: я не виноват, я старался...

То, что в семье я ни о чем рассказать не мог, — это полбеды, это понятно: гостайна. Но даже угрюмой апатии нельзя было себе позволить. Надо улыбаться, держать радость, оберегать семейное тепло. Ведь стоит его раз упустить, и уже не восстановишь, как было. Свинцовая память о разъединении, пусть и недолгом, точно осколок вражьего снаряда навсегда застревает у сердца, откуда вынимать его не отважится ни один хирург. Потому что невозможно, сердце распорешь.

И я улыбался.

Смотрелись рядом Сережка и Надя странновато.

Сын даже дома предпочитал ходить в форме. По-моему, ему элементарно нравилось тугое, мужское поскрипывание ремней. Гордился, простая душа. Он еще в училище в форму врос, а уж с тех пор, как на его голубой петлице, рядом с кры-

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий и Государственной премии РСФСР по кинематографии. Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Журнальный вариант.

лышками, красной длинной брызгой уселась первая шпала да после того, как Коба произнес свое знаменитое «Люблю я летчиков и должен прямо сказать — за летчиков мы горой», Сережка разве что спать в форме не ложился. Может, и ложился бы, если бы не боялся помять.

Надежду я впервые увидел в новомодных брючках из грубой американской холстины, сидящих в облип, точно синяя чешуя; в таких, чтоб защемить ножками мужскую душу, и раздеваться не надо, и я, помню, подумал: стройненькая — и порадовался за сына. Но этим меня еще не проняло. Хотя, может, я лишь по первости не ощутил перемены в себе; так, подцепив смертельный вирус, человек некоторое время живет, как живой, смеется, играет с детьми, читает умные книги и подписывает важные документы, планируя на завтра совещание и на послезавтра театр, и не ощущает ни жара, ни слабости, ни тревоги; но какая-нибудь Эбола у него в крови уже чавкает вовсю, и никакого послезавтра у него на самом деле нет, а завтра — такое, что и его лучше бы не было.

Ворот блузки у нее оброс воздушными фестончатыми финтифлюшками, и рядом с их колыханием даже комсомольский значок на дерзко высокой груди смотрелся какой-то изысканной, неведомой ювелирам брошью.

А выше финтифлюшек, слепящим ударом изнутри — нежная кожа хрупких незагорелых ключиц. Таких беззащитных, что стоит глянуть хотя бы мельком — пересыхает в горле.

Лица у них тоже были что твои единство и борьба противоположностей.

Сережку увидишь, и сразу ясно: вот человек, которому хоть сейчас можно доверить хочешь эскадрилью, хочешь авиаполк. Но ни в коем случае — никаких двусмысленных операций, никаких конфиденциальных переговоров с намеками, обиняками и недоговорками. Что ему там скажут — он просто не поймет и, слушая розовые и округлые, как буржуйские ляжки, фразы, решит, будто у него теперь на одного верного друга стало больше; а сам ответит так, что лучше бы уж сразу отбомбился. Я-то знал, что в свои двадцать пять он стал немножко умнее своей скуластой, вихрастой, честной, как булыжник, физиономии; но если бы не ремни да петлицы, его и теперь можно было принять за подпaska-переростка, что забрел в город, заблудившись в поисках пропавшей буренки.

У Нади лицо было, что называется, интеллигентное. У нас же с некоторых пор как: нос картошкой, волос рус — простонародное лицо; нос с горбинкой и вообще анфас с профилем подальше от нюшек, грушек и парашек, поближе к ядвигам, эсфирям и шаганэ — интеллигентное лицо. Поступь истории. Интеллигенты с носами картошкой либо давно сгнили в расстрельных ямах чрезвычайек, либо мыкали свои таланты по европейским задворкам и, ошеломленные кособокостью большевистского интернационализма, кто сознанием, кто подсознанием мечтали о русском Гитлере.

Молодые влетели в дом, и стало тесно и весело. Они гомонили и сверкали сразу со всех сторон. Они искрились и бурлили, как шампанское. Когда я спросил, где они познакомились — вопрос вроде бы проще некуда, одной фразой можно ответить, — они лишь коротко переглянулись (ее длинные волосы тяжело и пышно мотнулись от плеча к плечу, потом обратно) и, вмиг договорившись без слов, построились, изобразили руками, будто идут в штыковую, тыча воображаемыми трехлинейками в воображаемого врага, и запели хором:

Возьмем винтовки новые,
На штык флажки!
И с песнею в стрелковые
Пойдем кружки!

И сами же расхохотались, снова с наслаждением переглядываясь. И только потом Сережка соблаговолил:

— В стрелковом клубе, прикинь!

Незамутненная жизнь, только-только кинутая ввысь трамплином детства, вся в предвкушении неизбежного счастья, превращала их в праздничный фейерверк. В нашей буче молодой, кипучей... Они и были этой бучей, вдруг ворвавшейся к нам, а мы с женой оказались в ней, как унесенные ветром. Жарким веселым ветром. Взмело — лети.

Уже садясь за стол и приступая к многозначительному семейному чаепитию, Надежда все же решила пояснить. Видимо, обеспокоилась, что мы, не ровен час, подумаем, будто она, как простая работница с обложки журнала «Работница», могла пойти учиться стрелять, чтобы всего лишь научиться стрелять. На случай, мол, войны. «И если двинет армии страна моя...» Нет, что вы, у меня же интеллигентное лицо. И вообще я вся такая.

— Мне зачетную статью надо писать на свободную тему, вот я и решила про стрелковые клубы. Социальный состав участников, динамика численности, рост боевой подготовки... Ну, а заодно...

— Она журналисткой будет, — уважительно поддакнул Сережка и уселся, с видимым удовольствием скрипнув ремнями.

— О! — с пониманием сказал я. — ТАСС уполномочен заявить!

Надя чуть порозовела. Видно было, что до самых ключиц. А может, и ниже, но тут уж блузка не давала убедиться, и только воображение, тоже раскрасневшись и запыхав, подсказывало: до самого того, что под комсомольским значком... Стало ясно: телеграфное агентство СССР — ее мечта, ее зенит небесный.

— Может, и не сразу ТАСС... — скромно сказала она.

— В ТАСС только проверенных берут, — сообщил Сережка с видом знатока. — Кто умеет и не соврать, а все равно приободрить. Стакан наполовину полон — пожалуйста в ТАСС. Стакан наполовину пуст — пойдешь еще поучись где-нибудь на ударных стройках... И это правильно, я считаю. Ненавижу нытиков.

Она посерьезнела.

— Уж не знаю, кто как, а я буду писать только достоверные факты. Только правду. А уж бодрит она дураков или нет — не мои проблемы. Умным главное — правда.

Поддерживать семейный разговор за столом — это святое. Но я, вспоминая тот вечер, так и не мог никогда уяснить для себя: я начал распускать хвост оттого, что вирус уже выплеснул в кровь первые токсины, или всего-навсего честно старался беседовать с молодежью об их умном и важном, да, кстати, поспешил воспользоваться довольно редким случаем ненавязчиво повоспитывать взрослого сына, коль воспитывать его обычными средствами давно поздно.

К тому же я зануда, я знаю.

— Тогда давайте потренируемся, — сказал я. — В двадцать, например, седьмом году боевиками Русского общевойскового союза совершено на территории СССР более девятистот террористических актов. Это факт, Надежда. Это — факт. Можешь где хочешь проверить.

— С ума сойти... — потрясенно сказал Сережка. — Почти тыщу? Вот же гады... Я не знал... я тогда еще маленький был... Слушай, пап, это правда?

Я молчал.

— Ну? — еще не понимая, нетерпеливо спросила Надежда.

— Правда ли это? — спросил я.

Она опять покраснела, и это было так пригоже, так по-девичьи, что хвост у меня, скорее всего, начал распускаться сам собой. А я этого вовремя не осознал и не пресек.

— Не понимаю... — сказала она после паузы.

Сережка, слегка набычившись, смотрел на меня настороженно: не обижу ли я его ненаглядную. А закончившая с плюшками жена, подперев подбородок кулачком и демонстративно предоставляя молотить языком мне, устала на гору своих творений, что, медленно остывая, дышали на всю гостиную сладким духом уютного домашнего изобилия.

— Правда тут будет вот такая: сметенные со столбовой дороги истории озверевшие последыши белогвардейщины в своей бессильной злобе не останавливаются и перед самыми гнусными преступлениями, тщетно пытаюсь замедлить уверенную поступь народов СССР в светлое будущее. Более девятисот борцов за народное счастье пали от подлых ударов в спину... Или как-то так.

Сережка облегченно перевел дух.

— А, ты об этом, — сказал он. — Ну, это конечно...

Однако Надежда уже поняла, что я только, что называется, загрунтовал и тренировки не закончена. Она молчала и смотрела выжидательно.

— Но ведь для кого-то может, как ни крути, быть и вот такая правда, — сказал я. — Русские герои, словно былинные богатыри, не складывают оружия в священной борьбе против захвативших Отчизну жидовских кровососов. Более девятисот большевистских преступников были казнены смельчаками, готовыми, не задумываясь, жертвовать своими жизнями ради освобождения матушки-России от коммунистического ига.

У Сережки отвалилась челюсть. Маша приподняла подбородок с кулачка и нахмурилась. У Надежды красиво приоткрылись губы и глаза стали... Не знаю, как сказать. Словно она вдруг обнаружила, что Земля круглая.

— Пап, ты чего... — сказал сын.

Я-то был уверен, что говорю это все ради него. Я даже и смотрел-то тогда больше на него, чем на нее, и все еще полагал, будто я вышестоящий мудрец.

— Фактов пруд пруди, их подбирать легко, — сказал я. — Более важные, менее важные... Более эффектные, менее эффектные... Какие надо. Но иногда приходится выбирать между правдами. В жизни, наверное, это самый важный выбор.

— А вы как выбираете? — негромко спросила Надежда.

— Чай пейте, — сказала Маша. — Плюшки берите. Остывает.

Я поднял блюдо с ее фирменным лакомством и подал сначала Надежде, потом сыну. Надежда аккуратно взяла одну, Сережка по-хозяйски сгреб сразу три. И одну положил своей девушке на ее блюдец.

— Мой давний друг, — неторопливо начал я, — отличный фронтовой товарищ, в двадцать втором внезапно решил, что тут он не за то боролся, и поехал бороться за то и туда. В Палестину, укреплять общины поселенцев. Он мне потом писал очень искренне, что, когда ехал, думал так: вот есть правда двух народов, у каждого своя, и надо искать взаимопонимание и компромисс. А через год написал, что понял: одна из этих правд — это правда его народа, а другая правда — правда народа чужого.

— Но это подло... — сказала Надежда.

— Не знаю, — ответил я. — По-моему, как раз честно. Предельно честно в таком положении. Куда подлее те, кто, про себя делая этот же выбор, вслух продолжают твердить, что они, мол, отстаивают общечеловеческие ценности и так ищут взаимопонимание и компромиссы.

— Ну, ты вообще... — пробормотал Сережка. Судя по его брезгливо оттопыренной нижней губе, о подобных подонках и говорить-то не стоило.

— Возьмем для примера такой тезис: «Палестина есть исконно еврейские земли». Для тех, кто принадлежит соответствующей традиции, он является бесспорной

истиной и не нуждается в доказательствах. Человек слышит и сразу согласен всем сердцем: ну, разумеется, а как же? Для тех, кто принадлежит к иной традиции, он столь же бесспорно является ложным и злокозненным. И, что характерно, никакие рациональные доказательства, никакие экскурсы в историю и культуру таких людей не переубедят, а лишь разозлят. Нет никакой надежды оценить эту правду извне культуры, объективно, сверху. Решает единственно принадлежность к культурной традиции, потому что именно она и делает народ народом. Тем или другим.

— Ох, — не выдержала Маша.

Мне оставалось ей лишь подмигнуть. Но остановиться я уже не мог.

— Тот, кому на все плевать, — пояснил я, — и кто не собирается даже пальцем о палец ударить, может попробовать надуть щеки, выпятить живот и изобразить объективность. Но наша-то задача не этим ангелом во плоти полюбоваться, а придумать, как поменьше злить обычных людей, не ангелов, с обеих сторон. Чтобы количество ненависти и крови в мире не росло, а хотя бы чуток уменьшалось.

Маша, помрачнев, опустила глаза. На кровь мы с ней насмотрелись, и она понимала: я не с бухты-барахты витийствую. Молодежи подавай справедливость любой ценой. Когда наглядись на то, как и чем справедливость утверждается, начинаешь некоторые вещи чтить выше нее. Я, во всяком случае, начал.

— Па, что-то ты...

— Однако и это еще не все, — проговорил я. — Самый трудный выбор — это когда двумя правдами не два народа разведены, а разорван один.

— Я вот как раз это и хотела сказать, — проговорила Надежда, в первый раз посмотрев на меня с интересом. Или с уважением, что ли. — Вернее, об этом спросить. Вы же с этого начали. Значит, к этому и ведете, да?

— Именно, — непреклонно согласился я, потому что деваться было некуда. — Тут я бы выбирал так. Надо смотреть, во-первых, в какой правде сохраняется больше места главным, исстари идущим представлениям о том, что хорошо и что плохо, что благородно, а что подло. И во-вторых, где больше отвергается уже неработоспособное старое, но проявляется работоспособное новое. Вот та правда и будет правильная правда, ради которой действительно стоит геройствовать и жертвовать. Потому что когда эти главные представления или разрушаются, осмеиваются, или, наоборот, упрямо консервируются и уже не налезает на изменившуюся жизнь, люди вообще лишаются представлений о Добре и Зле. И тогда у них не остается никаких ценностей, кроме собственного «я» и его ублажения, а стало быть — денег. Тут-то они и пополняют ряды марионеток буржуазии. А буржуазии только того и надо. Поэтому все, что не продается и не покупается, она называет предрассудками. Людей, у которых есть идеалы помимо самоутверждения и обогащения, — отсталыми. И старается всех убедить, что все конфликты в мире из-за этой отсталости. А на деле-то конфликты из-за денег самые лицемерные, жестокие и подлые... Для нас, когда мы выбираем правильную правду, важнее всего, что в условиях капиталистического окружения эффективная самостоятельная экономика, способная встать с этим окружением вровень, может быть выстроена только некапиталистическими средствами. Добуржуазная культура — единственная основа постбуржуазной культуры.

— Культура... — недоверчиво произнесла Надежда. Коротко покосилась на Сережку и опять уставилась на меня. Будто сравнила нас и что-то прикинула. Как же это, мол, у такого сынишки такой папашка. — Добро и Зло... Слова-то какие старорежимные... — запнулась. — Вы что, из... старых спецов?

Я понял, почему она запнулась после «из». Наверное, хотела спросить: «Из попов»? Но вовремя сдержалась. Сманеврировала.

Сережка открыл было рот, торопясь ответить за меня, но я упредил:

— В какой-то степени.

Я понял: девочка не знает, куда попала. Сын ведь никогда не распускал язык. И не потому, что такой уж темнила, а просто ему казалось нечестным хвастаться отцом. Это я вполне мог понять. К себе надо привлекать внимание собой, а не своим стариком. Как же гадко это звучит: а ты знаешь, у меня папа... Знай, мол, наших. Вот, мол, какой я незаурядный малый — от такого папы родился.

А в доме Надежду, конечно, обманула скромность. Но нам некогда было заниматься благосостоянием, считать квадратные метры, менять мебель, подбирать драпировки по цвету и запаху. Ей-ей, мне хватало того, что есть, и Маше тоже, и инвентарные номерочки на стульях нас не приводили в бешенство, как некоторых партийных скороспелок, что из грязи в князи. Наверное, именно поэтому наша давняя дружба с Кобой так и не треснула. Он тоже был скромняга и тоже не терпел номенклатурных нуворишей, способных без зазрения совести хоть бетон Днепрогэса разбодяжить, лишь бы украсить свой кабинет узорчатой тестикулой Фаберже; его бы воля, пересажал бы их всех, и вороватые пальцы знай себе хрустели бы на Лубянке. Только вот беда — узок бы остался круг революционеров... Наверх люди лезут либо чтобы иметь, либо чтобы владеть. Либо чтобы втягивать мир к себе в обиталище, либо чтобы накрывать мир собой, менять его под себя. Под свои представления о Добре и Зле. Иные наверх не лезут. Противно им, суматошно, лживо и грязно наверху... Их там подчас очень не хватает, этих иных, но ничего не поделаешь. Надо уметь ходить к ним за советом туда, где они есть.

Коба, конечно, хотел владеть и менять. Но тех, кто хочет иметь — больше. Такова жизнь. Таков человек.

А чего хотел я?

Иметь мне было скучно и суетно. А владеть ощущалось как что-то нечистое, стыдное. Я, если уж пытаться найти слово, хотел просто быть, беспрепятственно быть. Таким, какой есть, и никак иначе. Изменяться, конечно — но не потому, что надо просочиться, взгромоздиться, урвать, угодить или понравиться, а потому лишь, что узнал или понял нечто новое и настолько значительное, что прежним, как ни старайся, не остаться. Делать в мире что-то хорошее — но не так, чтобы мир хрустел, переламываясь, и стонал, прогибаясь, и при том плясал, потому что не плясать страшно, а чтобы сады цвели, где прежде не цвели, и чтобы в каждое сегодня кто-то из людей понимал хоть чуточку больше, чем понимал в каждое вчера. Мне повезло, что я был во всем этом совершенно искренен. Если бы Коба хоть на миг заподозрил, что я, очевидно не желая иметь, могу захотеть владеть — что греха таить, не собрать бы мне костей. Кремль не богадельня.

А Надя, похоже, решила, что попала в норку заштатного инженера, пожизненного творца овощехранилищ. Физиономией-то я был похож на Сережку — ну, вернее, он на меня, но это не важно; может, годы и многолетняя привычка изящно обманывать врагов и напустили на меня хотя бы легкий флер интеллигентности, но вряд ли. Морщины морщинам рознь, и седина бывает не только благородной, но и просто мышиного цвета.

Наверное, потому девушка так и поразилась, слышав от меня несоответственные речи. Вот чем я просунулсЯ сквозь ороговевшую от трения об обыденность шкуру ее души и воткнулся в живое, сам того не ведая. Совершенно неожиданно для себя.

— И какая же из правд про девятьсот терактов правильная? — помолчав, все же рискнула спросить Надежда. Решила дойти до точки. И меня довести.

— Конечно, наша, большевистская, — сказал я.

— Ну и на том спасибо, — с облегчением произнесла Маша. — А то развел тут поповщину...

Да, мы с нею давно выяснили, что про высшие ценности русской культуры она и слышать не может. Мол, не было таких, и все. Когда-то и я так считал. Одна только жадность, глупость, леность, жестокость и зависть к более умным и процветающим. В Институте красной профессуры она читала курс «История порабощения русским царизмом окружающих стран и народов». В этом году его переименовали в «Историю России». Вместе со всем институтом, кстати; тот стал Высшей школой марксизма-ленинизма. Но содержание, насколько я знал, не шибко изменилось.

— Понимаешь, Надежда... Конечно, беляки до сих пор то и дело крестятся и в церквах свечки ставят, это факт.

— Вы сами видели?

— Представь, доводилось... Так что вроде бы это они — защитники исконных ценностей. Но вот вопрос: как их отстаивать в посюстороннем мире, если государство не то что свои ценности, а даже себя защитить не способно? Ведь их государство было ни на что уже не способно. Умные люди были, честные люди были, а все как-то вязло. Финансы французские, уголь английский, машины немецкие, даже нефть — наша, бакинская — и та у Ротшильда и Нобеля. И никого из них обидеть не могли. Не то останешься без угля, без машин... Приди белые к власти, пусть даже и без царя — волей-неволей устроили бы из любимой матушки-России что-то вроде нынешнего гоминьдановского Китая: глухую периферию мировой капиталистической системы, бессильную распадающуюся компрадорскую полуколонию. Тогда крестись, не крестись — кроме как про фунты да франки ни во дворцах, ни в хижинах, ни в церквах никто бы и думать не умел. А мы опираемся на все лучшее, что история веками в нас воспитывала — товарищество, бескорыстие, верность, пренебрежение мирскими благами, — и применяем для создания самостоятельного государства с сильной наукой и промышленностью. А оно, в свою очередь, все это наше вечное способно защитить. Получается, что будущее на нашей стороне, а мы на стороне будущего. Вот увидишь, раньше или позже мы и китайским товарищам поможем скинуть Чан Кайши, и тогда коммунистический Китай тоже расцветет... Применяя, конечно, не нашу, а свою исконную культуру ради цементирования своего будущего.

— Аминь. Хватит уже тебе молодых томить, — сказала Маша и, поднявшись, взяла со стола остывший чайник. — Пойду греться поставлю.

Проходя мимо покрытой белой кружевной скатертью тумбы, на которой пылилась наша гордость, купленный в прошлом году «Рекорд», свободной рукой она повернула звучно хрупнувшую ручку выключателя.

— Развлекитесь пока, — сказала она. И, убедившись, что маленький экран замерцал голубыми полосами и, стало быть, прибор включился и прием есть, добавила: — Вернее, отвлекитесь. Как раз новости начались.

Лучше бы она этого не делала.

Суетливая мельтешня кадров и строк внутри кинескопа уgomонилась и выпустила на экран осточертевшее лицо, благороднейшее из благороднейших. Картинная седина, умные глаза, классические британские усы, длинные впалые щеки — ну прямо исхудал-отощал от забот о благе Англии и всего цивилизованного сообщества...

— Чемберлен, — первым подал голос Сережка. И он, мол, не лыком шит, знает премьера Великобритании в лицо.

С Невилом Чемберленом я виделся очень мало и всегда мельком. Не мой уровень. В дипломатии ритуалы значимее, чем на похоронах, и потому иерархическое соответствие сторон есть почти фетиш. Обычные мои визави — замминистра

Кадоган, в порядке исключения — сам министр Галифакс, у поляков — вице-министр иностранных дел Шембек... У немцев — статс-секретарь Вайцзеккер...

Век бы их не видеть, хлыщей.

Впрочем, с немецким послом в Москве фон Шуленбургом мы друг другу странным образом симпатизировали. Хоть он и фон, а я все детство в деревянном корыте крапиву сечкой рубил на прокорм домашней птице, да порой и себе... И еще более странным образом друг другу сочувствовали. Мне иногда буквально до слез его становилось жалко: такой приличный дядька, а служит бесноватому, да еще уверен при том, что у него и выхода другого нет, ибо так он служит фатерланду. Дас дойче фольк избрал себе канцлера — и амба; утрись, Фридрих Вернер Эрдманн граф фон дер Шуленбург, и служи.

А он, подозреваю, думал то же самое обо мне... Ну, только без графа, конечно.

Ладно. Что там в экране?

Известно что. Весь мир, наверное, смотрит эти кадры во всех новостных программах, и раз, и два, и три. И рукоплещет. Благородный седой джентльмен, явно исполненный всех и всяческих достоинств, истинный рыцарь, стоял у трапа самолета, держа в пальцах прыгающий на ветру листок бумаги, которым Адольф, ну ясно же, не сегодня-завтра подотрется, и ворочал во рту горячую картофелину английской речи. А за кадром вовсю старался синхронист:

— Когда я уезжал на эту встречу с господином Гитлером, сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно, представлялась мне ужасной, фантастичной и неправдоподобной... — Он, точно актер заштатного клуба, не преминул сделать пошлую паузу, для вескости еще раз встряхнул бумажным клочком и патетически воскликнул: — Я привез мир нашему поколению!

Меня замутило.

В передаче этого не говорили, но я знал: старого больного придурка уже ждал король, чтобы отблагодарить и наградить за миротворчество. Прием был назначен заранее.

Дебилы. Подонки.

— Теперь Чехословакия освобождена от всех источников внутренних конфликтов, и развитию демократии там уже ничто не помешает!

Сколько пафоса, сколько апломба... Безгрешный носитель общечеловеческих ценностей, олимпиец и миротворец, рассудил всех по справедливости и ничуть не стеснялся это показать.

Кстати об объективности. Вот так возвышенно, дети, выглядит объективность, и вот такова ей реальная цена.

А то, что в Мюнхен не позвали никого от нас, хотя с чехами у Союза были все договоры о взаимных гарантиях — ладно не позвали меня, но ни Молотова, ни Литвинова, ни хотя бы Потемкина, вообще никого, — означало, по сути, что четыре главные европейские державы заключили антисоветский союз. Пусть и косвенный. Лиха беда начало, дойдет и до прямого.

После премьеры еще что-то лопотал комментатор, кажется, как раз о будущем королевском приеме, но мы уже не вслушивались. Отрешенно молчали некоторое время, потом Сережка очнулся и неуверенно спросил:

— Пап, ну и что теперь? — Он запнулся, не решаясь произнести страшное слово, а потом все-таки произнес: — Война?

Я не сразу нашелся что ответить, и мы успели услышать от сменившего тему диктора несколько жизнерадостных фраз о запуске на Ставрополье новой машинно-

тракторной станции, способной обслуживать сразу до десятка колхозов, а потом вдруг храбро откликнулась Надежда. С надкушенной плюшкой в руке, она, аккуратно прожевав и проглотив, убежденно сказала:

— Да перестань. Вот бояка, а еще военный. Мой папа говорит, войн теперь уже никогда не будет. Современные простые европейцы так себя любят, что нипочем не позволят своим правительствам себя стравить и рискнуть их жизнями. Там же везде демократия. Чего народ хочет, то правительства и делают. А чего не хочет, того не делают, а то выборы проиграют.

Я чуть не расхохотался сквозь комок в горле. Сережка вопросительно посмотрел на меня: мол, ты согласен?

Война уже шла. Со всех сторон. Теперь она пришла и в сердце Европы. Пусть эта перекройка границ состоялась без единого выстрела — что за разница? Если, насилуя женщину, ей не переломали ребра, это не превращает изнасилование в долгожданную ночь любви.

— Твой отец воевал, Надя? — тихо спросил я.

— Нет, конечно, — она повела плечиком. — Он же ученый.

И вот тут меня прибило.

Это было так по-детски... Так безответственно. Мне позарез хотелось стать таким же хотя бы на один вечер, хотя бы на часок. Чтобы ну немножечко отдохнуть. Бессильная ответственность меня душила. За твоей спиной — дом, жена и сын, и некому, кроме тебя, остановить прущий танк, а у тебя — ничего, голые руки. Девочка просто излучала эту желанную, долгожданную безответственность. Она меня все-таки заразила. Все-таки это был вирус.

Если бы люди не умели становиться безответственными хотя бы ненадолго, никто бы ни в кого не мог влюбиться.

Бомбы сыпались на востоке, на юге, на западе. Они уже висели над нашими головами. Сидевшую напротив безмятежную девочку невозможно было в этом убедить, объяснить ей хоть что-то. Ее можно было только прикрыть собой.

Но, заслоняя женщину от бомбежки, рискуешь оказаться на ней.

У меня внутри все заходило ходуном, когда я душой услышал с потолка такой знакомый по Испании истошный вой пикирующего «юнкерса»-лаптежника, а телом ощутил придавленное горячее, упругое, льнущее, распластанное... Безоглядно доверяющее себя тебе в отчаянной надежде спастись. И нежная кожа ключиц прямо перед глазами.

Это длилось какой-то миг, но мне хватило.

Счастливая семья

Когда Маша вернулась с чайником, моя совесть, вмиг ставшая нечистой, сразу завопила мне, что жена все почувствовала.

Как она меня так сразу раскусила?

Может, оттого, что слишком уж много мне приходилось притворяться на работе, в обществе благоухающих набриолиненных стервецов, что с умным видом и без малейших угрызений объявляют черное белым, а белое черным; в ответ до судорог в мышцах хочется по-пролетарски засветить чем попало в наглые рыла, а приходится жевать сопли с сахаром: рады отметить общность основных наших подходов... остающиеся разногласия не могут помешать нам координировать усилия в деле достижения... Зато дома я все это сбрасываю и даже слова нечестного сказать не в состоянии, и на лице у меня все написано. Дома я беззащитен. Без фрака, без шерсти, без кожи.

А может, от наэлектризованных бессовестным вождением и желающих немедленно совокупиться просто пахнет как-то иначе? Ведь сплошь и рядом женщины по каким-то загадочным причинам остаются равнодушны к любящим, рассудительным, элегантным, заботливым и на костер идут ради насквозь эгоистичных распутников с нестираными трусами и вонью из подмышек. Летят, верно, на какой-то им одним ведомый запах, что главней любой воню.

Коли так, наука раньше или позже докопается до этой химии. Наука, она такая. Любых чудес натворит на потребу толстосумам. И это будет конец любви, и конец свободе, и конец всему самому красивому в человеке, самому непродажному, самому живому. Быть может, последнему непродажному и живому. Прежде хотя бы время от времени, хотя бы изредка прекрасные и благородные женщины могли говорить совершенно искренне: с милым рай в шалаше. Но когда наука покопается в святом, любовь не метафорически, а воистину станет и покупной, и продажной. И не в смысле грубой проституции, и даже не как спокон веку, что греха таить, бывало: выйду за богатого, а любить буду милого. Нет. Тогда и милым сделается лишь богатый. Именно любить можно будет лишь тех, кто в состоянии заплатить аптекарю или парфюмеру за какую-нибудь дорогущую пилюлю или прыскалку, а остальным — просьба не беспокоиться. Какое там «ветру и орлу и сердцу девы нет закона»? Один будет закон — цена.

Природа с ее всевластием случайностей — великий демократизатор, но покорение природы положит этой халяве конец. Кто богаче — тот желанней и любимей. Тот — красивей. И умней. И здоровей. И долговечней. А если эти свойства еще и научатся передавать через гены по наследству, как имущество...

Можно только гадать, сколько такая услуга будет стоить. Кому достанется. Уж точно не рабочим и крестьянам.

За имение или мастерскую, за лишнюю полоску земли или новое жемчужное ожерелье люди и то режут, травят и топят друг друга. Даже подумать жутко, как безоглядно любой пойдет по костям, чтобы обожали по первому щелчку, чтобы любая хворь обходила стороной, чтобы оставаться молодым двести лет. И чтобы передать все это детям.

Безо всяких личных усилий передать, просто за очередную плату. Ведь дети-то, чтоб не мешать родителям зарабатывать, растут в какой-нибудь высокотехнологичной и, конечно, тоже дорогой пробирке. Как умники говорят: экстракорпорально.

Ничего сам, ничего внутри. Все для тебя — извне, все — другие, все — за деньги. Рынок.

Капитализм изначально бесчеловечен, но капитализм, помноженный на науку, — это вообще конец человечества. Сколько бы он ни твердил давно утратившее реальный смысл слово «свобода». Если не положить ему предела, раньше или позже он всех людей поголовно перемелет и сделает чем-то вроде турникетов в парижском метрополитене: опустили в щель монетку — задержался, открылся, все умеет и на все готов; не опустили — стоит мертвяк мертвяком, железяка железякой и не реагирует ни на молитвы, ни на стихи, ни на партийные лозунги.

Чем больше думаю, тем лучше понимаю: в Октябре мы успели буквально в последний момент.

Да и то еще не факт, что успели.

А сколько времени и сил ушло, да и поныне уходит на то, чтобы уловить и приглушить в симфонии революции партию отвращения к России как таковой и необъяснимо неустанного желания, чтобы ее не было. Не для освобождения пролетариата, не для коммунизма, а просто так. Только путается, мол, под ногами у той или иной высшей расы. И вообще — никудышная. Сколько времени ушло на то, чтобы

понять: эта партия вовсе не выдумана недорезанными черносотенцами, а взаправду звучит, да порой — еще как...

Сережка ушел проводить Надежду до трамвая, а мы с Машей привычно принялись в четыре руки за посуду: я мыл под краном, она вытирала или ставила в сушилку. Глупо признаваться, но я люблю мыть посуду. Люблю делать грязное чистым. Опять-таки: труд и его немедленные плоды. Да и то сказать — разве это труд? Когда из крана течет, да еще и не только холодная... То, как по воду надо было в любую погоду бегать с ведрами за полверсты, осенью или весной чавкая по грязи, зимой оскальзываясь на смерзшемся от пролитой воды снегу, не забудется до смерти.

Мы как раз закончили, когда Сережка вернулся благодушный, гордый, поглядывая на нас чуть вопросительно: ну, мол, как? Я показал ему большой палец. Он расцвел.

А в полутора тысячах километров от нас, не прерываясь даже на ночь, валили через бывшую границу колонны техники и войск, и черные, как тени мертвецов, регулировщики, крутя жезлами в снопах света нескончаемо сменяющих друг друга фар, выхаркивали свое «Шнель! Шнель!»

Тлел ночник. Тайнственно мерцали, как драгоценности в пещере Али-Бабы, никелированные шары на спинке нашей кровати.

— У тебя седина красивая, — отдышавшись, сказала Маша на пробу.

— Темно же, — проговорил я. — Как ты видишь?

— Вижу.

Я не ответил.

— И вообще ты сегодня превзошел себя.

Я не ответил.

— И за столом, и после, — сказала она.

Я не ответил.

— Два часа рядом с молоденькой посидел и сам помолодел, — на пробу пошутила она.

Я сказал:

— Да это я рядом с тобой сидел. А они напротив.

Она помолчала и, решив, наверное, больше не будить лиха, спросила уже обыденно, по-семейному; мы, мол, вместе, и у нас общие заботы:

— Как она тебе?

— Вроде ничего.

— Мне показалось, ты к ней вполне проникся.

Я сглотнул, прежде чем ответить. Боялся неуместно пискнуть горлом.

— Ну, симпатичная, кто ж спорит.

— А ты не боишься при ней вести такие разговоры? Мы же ее совсем не знаем.

— А что я такого сказал?

— Ну да, действительно. Теперь русский дух опять в почете. Дожили.

— Машенька, а почему ты теперь от меня все время под одеялом прячешься? Нынче вон вообще... до горлышка. И никогда уже, — я показал двумя пальцами, как ходят, — не погуляешь передо мной? Это ведь красиво...

Она помолчала. Потом суховато ответила:

— Фигура уже не та, чтобы увеселять повелителя половецкими плясками. Что ты глупости спрашиваешь? Будто сам не знаешь. Грудь обвисла, талия оплыла, целлюлит...

Я едва не рассмеялся. Вот сейчас, в эти самые часы, Гитлер без боя занимает Судеты со всеми их крепостями и заводами, и у нас, может, летят последние мирные ночи, когда еще можно дать себе волю — а ее именно сегодня начал волновать целлюлит!

Потом я вспомнил, что волновало весь вечер меня, и пузырь смеха мне будто банником вогнали обратно в глотку.

Машенька.

Марыля. Маричка...

У меня замечательная жена. Я люблю ее и любил все те почти уже бесчисленные годы, что мы вместе. Какой-нибудь живущий в мирное время идиот, наверное, счел бы наше знакомство романтическим.

Ее отец комиссарил у нас в полку.

Он был родом из тех странных межеумочных мест, что малороссы называют Западной Украиной, поляки же — Восточной Польшей, а чаще и проще, как и любое инонациональное приращение своего воскресшего государства, — кресами, то бишь пограничем, оконечностями.

Местности и края такого рода столетиями болтаются от страны к стране, а то и просто в щелях между ними, не принося счастья ни себе, ни тем, от кого к кому кочуют. Сережка, начитавшийся мечтательной зауми и настолько увлекшийся, извиняюсь, космосом, что даже боевую авиацию бросил ради опасных и не очень-то, по-моему, своевременных стратосферных экспериментов («Стратосфера — это первый шаг к овладению безвоздушным пространством, папа! Как ты не понимаешь?»), сравнил бы, наверное, подобные окраины с астероидами. Неприкаянно и мертво те мыкаются по неустойчивым, причудливо вихляющимся орбитам между большими живыми планетами, приближаясь то к одной из них, то к другой, то вновь улетаая от всех в сумасшедшую ледяную даль; но не это трагедия. Трагедия происходит, если астероид во время сотого или тысячного из однообразных пролетов мимо оказывается все же захвачен тяготением той или иной планеты и на нее упадет.

Собственно, живут там люди как люди, я не раз убеждался. Работающие, крепкие, семейные, костыми готовые лечь за свой дом, как и любой нормальный хороший человек. Но если, позаимствовав у той или иной планеты кислорода и зелени, на астероиде успевает вырасти так называемая культурная элита, добра не жди.

Ни одна элита не может не гордиться собой, так она свои творческие способности неизбежно подпитывает — но тамошней элите гордиться нечем. Нет у нее и не было никогда достижений: и письменность не она себе придумала, и главные книги не она себе написала и уж подавно ни магнитного поля не открыла, ни икслучей, ни стрептоцида, ни Антарктиды, ни даже завалящей Америки. В Америку она только бежать способна, но всем-то ведь не убежать. И потому вместо гордости получается один гонор. «Гонор», конечно, с латинской подачи по-польски «честь», но ведь не зря же в русском этакая честь именно в «гонор» превратилась, и ни во что иное; хорошо хоть, не в гонорею. И вот по-человечески очень понятным образом тамошние властители дум приходят к незыблемому убеждению: потому у них достижений нет, что их всегда угнетали. Не давали проявить себя. Пользовались их великими талантами, крали их великие прозрения и, высосав, выбрасывали их самих обратно в межпланетный мрак. Причем ведь вот что любопытно: реальных достижений они добивались, если вообще добивались, именно лишь попав на ту или иную планету. Когда получали, наравне с остальными ее обитателями, ее воздух и свет, ее простор, ее огромные ресурсы, ее питательную среду... Некоторые становились на ней совсем своими, а то и ее гордостью. Но именно эту-то планету потом и начинали скопом ненавидеть. Она-то и становилась у них символом угнетения и интеллектуального ограбления. То та, то эта... В зависимости от зигзагов орбиты. Такая у гонора простенькая механика.

Только у очень крупных, самодостаточных людей, у которых много позади и много впереди, благодарность — естественное чувство, опора и мотор лучших прояв-

лений души. А для тех, у кого один гонор — это тяжкий груз, обуза, лишаящая свободы. Если ты меня спас, а я тебе благодарен, получается, что я вроде как несамостоятелен, вроде как колонизирован. А вот если ты меня спас, а я тебе в лицо плюнул — стало быть, я настоящий, равный тебе полноценный Хомо Сапиенс. Свободный.

В двадцатом году я, молокосос, деревенский тюня-лапоток, всего этого, конечно, не понимал. Тем более что и сам Ильич клял на чем свет стоит национальную гордость великороссов. И когда наш обожаемый мною комиссар хлопал себя по кожаному боку, выхватывая маузер, и с легким акцентом кричал: «Кто скажет слово „русский“ в положительном смысле, того расстреляю на месте! (И стрелял, бывало...) Русский — значит царский!» — у меня лишь дрожь восторга пробежала по телу: вот ведь как энергично и бескомпромиссно создается новый мир!

Себя я угнетателем и оплотом царизма ни в каком виде, разумеется, не считал. И не видел ни в слове «русский», ни в принадлежности к этому народу ничего зазорного.

Но у меня за плечами был опыт плехановского семинара.

Один из лучших людей, что я в своей жизни знал, — это Георгий Валентинович. Светлая ему память, земля ему пухом. И помирать буду — то же скажу, никакой исторический опыт меня не свернет. Были бы все интеллигенты такими, как он, я бы на них молился. Не соглашался бы, наверное, теперь во многом — а молился все равно. Не за единомыслие, пес с ним, в конце концов, а за человеческие качества. Замечательные люди встречаются куда реже единомышленников.

Кружок наш был самым первым и, пожалуй самым знаменитым в России; в отличие от множества возникавших то тут, то там эфемерных полуподпольных говорилен он дал самую богатую поросль. Совсем еще мальчишкой, лапотком натуральным, я приходил на заседания, забивался в уголок и слушал мудрых и великолепных. Как они соревнуются в остроумии и способностях к предвидению, как несут по кочкам власти и предлагают от властей избавление, как фехтуют то отточенной логикой, то яркими образами, в которых и логика порой не важна — нестандартность важнее... Как они блистали! Как крыли прогнившую империю! И то в России не так, и это не этак... Я, помню, слушал и падавшую от изумления челюсть не успевал вправлять ладонью: в каком, оказывается, аду мы живем! Я-то, дурень, по простоте своей полагал, что тут подкрутить, там поджать, этим, обнаглевшим вконец, дать окорот, и все станет по-людски. А оказывается — надо до основания!

Но как умел слишком уж оторвавшихся от земли краснобаев Георгий Валентинович сбить с котурнов безупречно учтивой, но оглушительно точной иронией!

И, наоборот, если появлялся какой-нибудь обормот с очередным совсем уж пустобрехливым прожектом — скажем, надо всего-то лишь перевести русский язык на латиницу, и тогда постепенно сами собой и нравы исправятся, и права человека восторжествуют, и восьмичасовой рабочий день спланирует на ангельских крылышках из собственной его императорского величества канцелярии, и даже женщинам будет участвовать в выборах, потому как неизбежно случится воссоединение с мировой цивилизацией, а все отсталое, косное, азиатское, вместо со всем нашим окаянным прошлым отлетит, как прах, с наших зашагавших в будущее ног; вот тогда наш любимый шеф, картинно взвесив на ладони кипу исписанных листов, говорил: «Прошу господ семинаристов быть сегодня предельно уважительными. Героем нынешнего обсуждения была проделана большая работа...» С той поры и на многие годы фраза «Проделана большая работа» стала среди нас кодовым обозначением огромного, тяжкого и заведомо бессмысленного труда.

Да, не только революции там учили. Как-то само собой получалось учиться человечности. Ни к кому нельзя было быть неуважительным, пусть хоть к нелепому

самодовольному прожектору — ибо уже благие побуждения как таковые похвалены и заслуживают терпеливого, мягкого и тактичного культивирования; вдруг что и вырастет съедобного?

И среди многого прочего именно там, в плехановском «Освобождении труда», я понял простую, но, к сожалению, далеко не всем открывающуюся истину: если о тебе думают несправедливо плохо, это еще не повод считать того, кто так думает, тебе врагом. Или вообще плохим человеком. Куда чаще такое случается потому, что тебя всего лишь не поняли. Стало быть, надо не резкими словами и благородной яростью, не пощечинами и не бесконечной дуэлью отвечать на нелестные, оскорбительные о тебе представления, а коррекцией своего поведения. Работой над собой.

То есть применительно к ранней революционной поре — жить и все время показывать, доказывать: русский я, русский, но какой же я раб режима и поработитель?

Так и жил...

Поначалу я и не знал, что яркая и отчаянно храбрая девушка у нас в отряде — боец как боец, даже лучше многих — комиссарова дочь. Два месяца я смотрел на нее снизу вверх и был уверен, что она меня вовсе не замечает. Наверное, так оно и было какое-то время.

Но потом настала Каховка.

В те дни генерал Слащов — никакой еще не демонический литературный Хлудов, а просто небездарный кокаинист-золотопогонник — при поддержке кавкорпуса Барбовича бодал наши свежезахваченные плацдармы на левом берегу Днепра.

Сплошной линии фронта еще не сложилось, возникли ничейные зоны, гроздь пустых пузырей, которые каждый мечтал проткнуть первым, но боялся соваться наобум. И у белых, и у нас для серьезной разведки боем не хватало сил. А для детальной разведки с воздуха не хватало аэропланов.

Отец, суровый большевик, никак не выделял дочку среди прочего воинства. Красноармеец Марыля — и точка. Не знаю, как уж они меж собой общались в частном порядке, но если все в траншею — так и она в траншею, если усиленная группа в дозор — так и дочка в дозор, наверное, в качестве усиления. Нет, я не иронизирую — доверял он ей абсолютно, и стрелок она была отменный. А тут прижало выяснить, где против нас, завершая торопливую перегруппировку, сосредотачиваются изрядно потрепанные, чуть ли не до половины личного состава потерявшие части генерала Ангуладзе.

Почему-то в помощь Маше он послал именно меня. Она, разумеется, за старшего...

Ну, к тому времени я не простым бойцом уже был. Уже удостоился от комиссара подарка — именного нагана с гравировкой «За мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата»; этот наган, всегда смазанный и заряженный, и по сей день увесисто покоился в ящике моего стола. Однако мало ли было в то время таких вот бесшабашно храбрых по обе стороны фронта... Правда, партийный стаж у меня к тому времени созрел нешуточный, для рядового бойца странный и даже как-то непозволительный... Нет, не хочу гадать. Потом мы с ним никогда об этом не говорили. Послал и послал. Двоих.

Мы проплутали между Магдалиновкой и Марьяновским хутором едва не до темноты. Решили на завтра двинуться на Черненьку и укрылись на ночь в брошенном, одиноко грустившем на окраине Магдалиновки доме с выбитыми окнами. Ночевать под открытым небом нам было не привыкать, но если есть возможность обойтись без этого, кто откажется? Размыкаться по разным комнатам не рискнули: она прилегла на хозяйской перине, а я на полу у комода, накрытого белой скатёркой. Жили тут люди, видно, достаточные и бросили свое обиталище совсем недавно. Мы это поняли,

когда, стоило нам улечься в надежде выспаться, на нас темными сомкнутыми цепями, точно каппелевцы, двинулись по стенам сверху клопы.

До конца дней своих буду им благодарен. Не дали они нам, вымотанным до одури, провалиться в сон сразу; случись такое, мы проспали бы ввалившихся в тот же дом на каких-то полчаса позже нас пятерых беляков. Сонных бы они нас и повязали. А может, и порешили. Кой черт их к нам занес — не знаю; были ли они тоже дозором, или дезертирами, или отбившимися от своей части и шедшими ей вдогон разгильдяями, выяснять оказалось некогда. Мы от них услышали одно лишь слово — удивленное «краснопузые». А они от нас вовсе ни единого; а потом были только матюги, хрип и стон.

Вынужденный встречный бой в ограниченном пространстве, да еще в поздних сумерках, почти в темноте — самый паскудный подарок, какой можно получить после изнурительного дня. У них численное превосходство, зато мы в доме уже освоились. Когда накатывает таврийская ночь, помнить, где стена, где дверь, где клеть, где выход в сени, а где висит в тяжелом окладе икона, которую недолго сорвать, чтобы треснуть проснувшуюся голову по темечку, — дорогого стоит.

Это нас и спасло.

А их погубило.

Иногда все же странно бывает убивать людей, которые не только говорят на одном с тобой языке, но даже матерятся, как ты. Казалось бы, уж который год мы пускали друг другу кровь на потребу и потеху, как я теперь твердо знаю, англосаксам и прочей лощеной сволочи, уж пора было бы привыкнуть; но когда вот так, неожиданно-негаданно, только-только оставшись наедине с вожаком женщины посреди хмельной степной ночи...

Вся недолга заняла минут пять. По одному русскому в минуту. А мы с Машей по два раза успели спасти друг другу жизнь; вот такая вышла круговерть.

Под конец я, кряхтя от ярости и натуги, просто руками задушил предпоследнего, а последнему, раздробив лицо прикладом винтовки, вышибла мозги Маша, потому что некогда ей оказалось передернуть затвор; парнишка, уже раненый, уже распластаный на дощатом, гулком под сапогами полу, успел зацепить ее сердце мушкой револьвера и только спустить курок не успел.

Потом я валялся навзничь, хрипло дыша, и грудь мне продавливала мертвая рука такого же тюни-лапотка, как я, волею случая оказавшегося на той стороне; уже не часть человека, но всего лишь тяжелая чужая вещь, мешавшая отдышаться, и я, едва очухавшись, ее скинул. И клянусь, помню как сейчас, в голове всплыло вдруг ни к селу ни к городу: проделана большая работа... А потом красноармеец Маша упала на колени рядом со мной, уткнулась лицом мне в грудь и заревела ревмя.

Рядом с нами остывали и деревенели тела тех, для кого слово «русский», наверное, и впрямь было синонимом «царский», а я гладил ее стриженную наголо от вшей голову сведенными судорогой пальцами, еще помнящими хруст вражьего кадыка, и бормотал что-то нелепое. Не надо... Все, все... Машенька...

И скрюченные пальцы, обжегшись о смерть, словно сами собой погнались за жизнью и растянули верхнюю пуговку на ее гимнастерке.

А она, будто того и ждала, сама рывком раздернула вторую и третью.

Так это и случилось у нас.

Она же девочкой оказалась!

Помню, это меня потрясло сильнее всего. Мы были рядом, уже снова порознь, хотя и вплотную, но каждый опять отдельно, и я, сам чуть не плача от щемящего сострадания, бормотал: «Ты же погибнуть могла... Маленькая такая... Сто раз могла по-

гибнуть...» А она неумело тыкалась мокрыми от слез губами мне в плечи, в грудь и заклинала невнятно: «Но теперь я... Ты же меня... теперь даже если — то я все равно уже... да? Да?»

Уже много позже, в тридцать шестом, в Париже, на какой-то бессмысленной и по политическим соображениям совершенно необходимой конференции с тамошними левыми я разговорился на кофе-брейке с одной крупной защитницей женских прав. Убейте, не помню, как звали. Мадлен... Жаклин... Она и на официальной части не скупилась на гневные обвинения: дескать, советский гнет лишил женщин наших среднеазиатских республик законного права на борьбу за свои права, и на перерыве ее понесло на ту же тему — самую, видимо, для Европы актуальную на второй год бойни в Эфиопии, на четвертый Гитлера у власти.

— В советской Средней Азии женщины пользуются равными правами с мужчинами, одеваются, как хотят, получают светское образование... — терпеливо втолковывал я. — Чего вам еще надо?

— Чтобы они добились всего этого сами, а не получили как подачку из рук тирана, — ответила она, глядя на меня гордо и победительно: вот я какая смелая, режу правду-матку и не собираюсь смягчать выражений, а попробуй, мол, упрекни меня в том, что я хамлю, как дура, — сам же окажешься дураком.

— Но это — тысячи жертв. Вы что, не знаете, чем кончались такие попытки в Северной Африке или на подмандатных вам, европейцам, территориях Переднего Востока? Женщин убивали, насиловали, жгли живьем...

— Настоящая борьба всегда сопряжена с жертвами, — изящно держа маленькую чашечку кофе наманикюренными пальцами, небрежно сообщила она мне и, будто в доказательство своей решимости бороться, тряхнула ухоженной гривой; в воздухе закружились дорогие ароматы. Я едва не чихнул.

Казалось, они тут не соприкасаются со взаправдашним миром и живут во вселенной словесных самоутверждений. Неважно, что на деле происходит. Неважно, какие последствия будут иметь слова. Лишь бы сказать что-то такое, чего не говорили до тебя. Такое, что еще пуще соответствовало бы выдуманному, выщепенному из сытого пальца представлением, не имеющим ни единой связи с реальностью, кроме желания, чтобы тебя в этой реальности заметили.

— Хорошо, — я примирительно улыбнулся. — Это ваша гражданская позиция. Ваше социальное желание. Я понял. Общественное. А не могли бы вы мне поведать какое-то ваше личное желание? Сокровенное?

У нее загорелись глаза. Я понял, что сейчас она опять устроит сама себе удалое шоу про всемогущую и бескомпромиссную себя. И, разумеется, не ошибся. Так легко оказалось все знать про нее наперед. Она была проста, как погремушка.

— Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь у вас в Политбюро наконец набрался храбрости и убил Сталина.

Меня не то что разозлить, но даже обескуражить было невозможно. Не дома же. Я галантно улыбнулся. За эти годы я научился улыбаться так, как у них во время деловых встреч улыбались все: одними зубами. Глаза оставались ледяными. Так улыбаются волки, приступая к еде.

— Не могу отказать столь очаровательной женщине, — сказал я. — Я вернусь в Москву и исполню ваше желание. И после этого вам станет не о чем мечтать? Как же вы жить-то будете?

Вот тут она растерялась. Ее взгляд отплыл в сторону. Красными коготками она повертела чашечку на блюде. Ей, видимо, самой стало интересно: а о чем она мечтает? Она попыталась прислушаться к настоящей себе. И потом еще несколько мгновений размышляла, стоит ли открывать душу взаправду, а не на выхвалку. Но

стремление поговорить о себе, любимой, победило. Она беседовала со мной как со случайным попутчиком, а в таких разговорах люди порой бывают куда откровеннее, чем с самыми близкими друзьями. Программные шлепки мне она уже отвесила, победительницей себя уже чувствовала, а пооткровенничать еще хотелось. Она прекрасно понимала: даже если бы я попробовал кому-то передать ее слова, русско-му большевику ни один цивилизованный человек никогда и ни в чем не поверит.

— Очень хочется влюбиться, — продолжая смотреть в сторону, задумчиво сказала она.

Тут я, несмотря на всю свою закалку, почти удивился.

— У красивой дамы в Париже с этим проблемы? — я поднял брови и развел руками. — Никогда не поверю. Мадам, вы кокетка!

Она покачала головой.

— Секс стал доступнее презервативов, — проговорила она. — Но превратился во что-то вроде рутины правозащитного движения. Предпоследний пункт повестки дня. Встретились, поглядывая на часы, прямым действием реализовали свое право на личную свободу — и снова в бой.

— Ах, в бой... — понимающе сказал я.

И подумал: несчастные люди.

А потом подумал: не дай им боже нашего счастья.

Не поймут.

У слову сказать, Машиного отца успели арестовать при Ежове. Взяли прямо в его кабинете в Коминтерне. Но — повезло, это был уже излет, конец июля. Я не успел даже начать суетиться, обиняками выясняя, в чем дело, — в заместители опальному, обессилевшему злому гному поставили Лаврентия, реальные полномочия фактически передав ему. И вскоре мы, опять счастливые, в который раз счастливые, встречали обалдевшего и разозленного тестя дома. В отличие от, увы, многих мы отделались лишь, как говорится, легким испугом — хотя, к чести Лаврентия напомним, вовсе не одни только мы. Правда, обратно на работу тестя так и не взяли. И теперь он, не желая и носу казать в город, покуда осеннее ненастье не выгонит, сидел на нашей даче в Опалихе, попивая то горилку, то wyborovu, что мне поочередно привозили по знакомству то из киевского, то из познанского торгпредств, и тихо клял предавший идеалы революции сталинский режим.

— Ну что? — спросил я. — Давай спать?

Маша в ответ всхрапнула.

Я погасил ночник.

А поговорить?

Осень в тот год как началась в апреле, так и тянулась до самой зимы.

За плачущим окошком металось серое месиво. Бесплотные полотнища домов напротив висели в мути унылыми тенями, и в них, словно прорехи, маячили блеклые окна, освещенные изнутри.

По случаю выходного я работал дома, и хотя уже шло к полудню, мне тоже пришлось жечь настольный свет.

В дверь кабинета постучали, а потом в открывшуюся щель просунулась Сережкина голова.

— Ты как, не очень занят? — спросил сын.

Я с удовольствием откинулся в кресле и выгнул спину, заложив за голову руки со сцепленными пальцами.

— Рад буду прерваться, — сказал я. — Всю работу не переделаешь. Не так уж часто ты теперь устаиваешь меня беседой.

Он уселся в другое кресло, стоявшее сбоку от стола, у окошка.

Я смотрел сыну в глаза спокойно и выжидающе.

А разбуженный его появлением поганый безмозглый червяк в темном подполе моей души завертелся и заерзал, задергал вправо-влево острой головенкой, желая немедленно знать: ну, как там у них с Надеждой? Уже? Или еще? Вот эти молодые простецкие губы, и формой, и цветом так похожие на давние мои, уже встречались с ее вишневыми губами, очерченными с изысканностью кленового листа? Уже целовали ей губы?

О том, как развиваются их с Надей отношения, сын ничего не рассказывал; да и с какой стати он, взрослый, плечистый, летающий выше облаков, принялся бы рассказывать старому папке о своих похождениях или их отсутствии?

— Ну, ладно, — сказал я. — Предположим. Крошка сын к отцу пришел. И спросила кроха?..

Я намеренно придал последней фразе несколько вопросительную интонацию. Мол, какие проблемы?

Молодой сталинский сокол — а кого еще и называть так, если не Сережку, и не таких, как он? — от неловкости взъерошил волосы, но ответил почти без паузы:

— Коммунизм-то хорошо. А что там будет плохо?

— Ого! — сказал я.

Надо было собраться с мыслями, и я взял неприметный тайм-аут.

— Тогда для начала все-таки анекдот. Почти по теме. Пап, откуда берутся дети? Ах вот ты о чем, сынок, сказал отец и глубоко задумался.

Вежливо, но мимолетно улыбнувшись, он наклонился вперед, словно решил было пойти на таран своей лобастой головой, но в последний момент передумал. Я понял: у него что-то случилось важное и так просто мне не отшутиться.

— Коммунизм мы лет через пять-семь построим, — убежденно сказал он. — Сейчас такой темп взяли, что... Ну, если Гитлера бить придется, то через десять. Это понятно. А дальше-то что?

— То есть как? — картинно опешил я. — Эх тебя, сынище...

— Ну что мы тогда делать будем?

— Серега, ну нельзя так ставить вопрос. Ты дом себе новый ставишь, свой, по своей задумке — так какой смысл спрашивать, что будешь делать потом, когда туда переселишься? Будешь жить! Дом — он не для конкретного занятия, а для жизни вообще!

— В том-то и дело! — горячо сказал он и опять взволнованно взъерошил себе волосы. — Жить. Дом не цель, а средство. И коммунизм тоже. Жить — это ведь не в четырех стенах сидеть, любясь мебелью. Жить — это и есть что-то делать! А что? Растапливать полярные льды? Так еще неизвестно, будет ли от этого польза, ученые пока точно не сказали. На Луну летать? Я бы душу заложил, чтобы повести ракету, но ведь я же первый понимаю, что всем туда не полететь, да и не надо. Не всем же этого хочется. И даже если хочется — опять-таки: зачем? Зачем на Луну? Чтобы построить там базу и потом лететь на Марс? А тогда зачем на Марс? Понимаешь, пап, я подумал: коммунизм — это же всего лишь ученое слово, а на самом деле это когда каждому человеку интересно жить. А так бывает, только когда делаешь, что хочешь. Ведь коммунизм — это свобода, какой раньше никогда не было! Свобода делать, что хочешь! А люди хотят черт знает чего.

— А, — с некоторым опозданием уразумел я. — Вот что ты...

— Ну да! — горячо и нетерпеливо поддакнул он. — Если всякому дать свободу делать, чего вздумалось, многие так накуролесят, что небо с овчинку покажется.

А если одним давать свободу, а другим не давать — то кто решит, кому дать, а кому нет? Какие желания правильные, наши, а какие — из-за пережитков старого строя? Партком? Или вообще — органы? Тогда какая, к фигам, свобода?

— Вообще-то считается, что при коммунизме будет чрезвычайно сильная педагогика, — осторожно сказал я. — С детства все будут очень хорошо понимать и помнить, что такое хорошо и что такое плохо.

— То есть сизмальства что-то вроде программки будут в мозги вбивать? — запальчиво спросил сын, и мне показалось, что это он говорит уже не совсем от души, но со слов, скорее всего, слишком уж образованной Надежды.

— А ты бы чего хотел? — я с нарочитой суровостью сдвинул брови. — Вот сам подумай, сын. Почему люди так не любят несвободу? Не потому, что свободный всегда ест сытнее или у него всегда женщин больше. Частенько бывает наоборот. Несвобода — это когда тебе приходится под каким-то внешним давлением поступать против совести. Вот тебе стыдно что-то делать, тошно, тоска берет, знаешь, что на всю жизнь потом останется в душе червоточина — а тебе говорят: делай, иначе твою мать повесим. Твоего ребенка удушим газом. Или просто тебе самому жрать станет нечего. И ты делаешь. Ненавидишь себя, проклинаешь всех вокруг, целый мир тебе становится омерзителен — но делаешь. Вот что такое несвобода. А свобода — это возможность поступать по совести. Чувствуешь, что поступаешь правильно, честно, благородно, как подобает, и тебе ничего за это не грозит, никто тебя не осудит, никто не помешает, никто не схватит за локти. Поэтому делаешь — и радость: хорошо поступил, да к тому же еще и не пострадал. Вот свобода. Но совесть же не программка с бумажки, которую начальник торопливо на коленке нацарапал. Это результат культурного программирования. Тысячу лет народы на ощупь тыркались, выясняя, что можно, а что нельзя. Что к общей пользе, а что к общему вреду. Каждый немножко по-своему, потому что история у всех немножко разная. И результаты их мучений закрепились в культурах как голос совести. А вот если распадается культура и прекращается программирование — свобода превращается в кровавый бардак: кто сильнее, тот и свободней. Если совести нет, поступать по совести в принципе нельзя, и тогда о свободе говорить бессмысленно. А если совесть есть, то разом появляется и свобода, и ее пределы.

Сын помолчал, напряженно хмурясь. Ветер на улице задул свирепее, и косой мелкий дождь, в котором становилось все меньше снега, принялся в такт порывам то сильней, то слабей жужжать на слепнушем от воды стекле.

— Но человек же все равно не машинка железная. И программа эта... она все равно куда сложнее. Не могут же все в равной степени...

— Да, конечно. Не могут. Считается, что тех людей, у кого засбоило, мало-помалу скорректируют товарищи... старшие коллеги... Да просто — жизнь. Осуждение тех, кто дорог или кто уважаем.

Он опять помолчал.

— То есть если человек сделал что-то не так — при коммунизме его никто не простит, а, наоборот, будут пальцами показывать: ты не прав!

— Ну что за мания у тебя — искать общее решение для проблем такого сложного уровня, как жизнь. Дитя ты еще, Сережка. Это же не элероны-лонжероны. Однозначности тут нет и быть не может. Но в целом — как в реке. Завихрения есть, стремнины, заводи, перекаты, омуты иногда, но вся она целиком все-таки течет к морю, а не от него.

— Но тогда получается, пап, что коммунизм — это не экономика никакая, не строй, не формация... Это просто люди. Не организация, не уровень производства — просто сами люди? Неважно, сколько там киловатт-часов или кубометров древесины производится на душу населения, важно только, какова сама душа?

— Ну, — сказал я, пораженный этим неожиданным и, наверное, правильным выводом, который в таком вот обнаженном виде мне в голову никогда не приходил, — можно сказать и так. Хотя, должен тебе напомнить, сильно с голодухи совесть может затихнуть даже у самых совестливых. Это тоже надо иметь в виду.

— Но тут же дело в правильной мере! — снова разгорячился он, принявшись страстно, как всякий новообращенный, развивать только что открывшуюся истину. — Чтобы не много и не мало. Чтобы и не голод, и не ожирение. Слушай, но тогда, может, партии надо было сразу честно сказать: хотите ходить в полотняных штанах и брезентовых штиблетах, но жить в доброте и чистоте, отзывчивости и правде? Или хотите «роллс-ройсы», и «паккарды», и разные галстуки на каждый день, но зато рвать друг друга зубами и когтями ради этих дурацких галстуков?

Тут уж пришел мой черед помолчать и послушать, как лихорадочными волнами налетает на изрыдавшееся окно мелкая водяная дробь и пыль. Почему-то стало очень грустно.

Когда вечные вопросы довести до детской простоты и уже тогда взглянуть им в лицо — всегда делается очень грустно. И как-то даже безнадежно.

— Ты, наверное, ответил бы, что предпочитаешь чистоту и правду, — тихо сказал я. — Я тоже... Еще кто-то... Но уж слишком для многих выбор не показался бы таким простым, как для нас с тобой. И к тому же... Как всегда, найдется множество очень эрудированных и умных, языки подвешены так, что мама не горюй, и они заголосят: да что ж вы народ-то обманываете! Видно, просто хотите держать добрых людей в черном теле и устроить себе роскошную жизнь за их счет! На самом деле у нас будут и галстуки на каждый день, и хрустальные дворцы для дюжорок, и при этом все мы будем бескорыстны, добры и отзывчивы. И ведь многие сами будут верить в свои слова! Потому что им так хочется. Когда человеку чего-то сильно хочется, он всегда может доказать, что это и правильно, и достижимо... И чем больше человек знает, чем он умней — тем легче и убедительней он это докажет. Знаешь, когда-то один мой хороший товарищ замечательно сказал: мозг есть механизм для оправдания того, что нравится, и обвинения того, что не нравится. А ведь голодный народ добротой соблазнить трудно, а сытостью — легче легкого.

Сережка надолго умолк. Но — сидел, не уходил. Похоже, он хотел теперь сам что-то рассказать, но не решался. В подвале души щекотно вскинулся червячок, заставив душу екнуть: может, про Надежду?

— Да что у тебя случилось-то, сын? — спросил я.

Он вздохнул и откинулся на спинку кресла.

— Да тут такое дело... — запнулся. — Помнишь Вадьку Некрылова?

Похотливый червь разочарованно обмяк и опять свернулся колечком.

— Имя помню, — сказал я. — От тебя слышал не раз... А лично... Вроде бы мы не встречались. Это товарищ твой, так ведь?

— Не просто товарищ, — мотнул головой Сережка. — В училище все годы вместе, на соседних койках. В одной эскадрилье вместе... Летчик прирожденный. И в стратонавтику я его уговорил, стало быть, и тут вместе. И вот поди ж ты. Занесло его пивка попить в компании с двумя штатскими. Они-то в гражданском, а он в форме. Пивка попили, водочкой полирнули... В общем, вдрабадан. А тут патруль. А он еще и драться с патрулем полез. Ну, штатским — ничего, а ему... сам понимаешь. А я-то его знаю! Никто его, как я, не знает! И вот я поручился за него. Пошел на самый верх, добился приема в парткоме... Я же комсорг группы, кому, как не мне... Поручился. Целую речь там закатил, минут на пятнадцать. И, понимаешь, уломал, поверили. Отделался Вадька выговором, но не уволили, не выгнали...

Он смятенно умолк. Я понимал. Рассказывать такое — не о коммунизме спорить. И стало предельно ясно, с какой радости его заинтересовали отвлеченные материи.

Нам всегда только кажется, будто мы отвлеченные материи обсуждаем. Даже когда мы этого не осознаем, мы всего лишь мусолим личные проблемы. Самые насыщенные, самые простые. Самые человеческие.

— И вот теперь я думаю, — мучительно выдавил он. — Может, я ему только хуже сделал?

— Почему?

— Ну ты же сам сказал. При коммунизме осуждение окружающих — единственный механизм исправления неправильного поведения...

Тогда я потянулся к нему и потрепал его по коленке. Эх ты, сталинский сокол... Так и хотелось взять его на руки и побаюкать, как встарь. У киски боли, у собачки боли, а у Сереженьки — заживи...

— Этого никогда нельзя знать наперед, — сказал я. — Может, ты его, наоборот, спас. Только будущее покажет.

— А пока не покажет — мне что же, каждый день на луну выть?

— Нет. Просто жить. Знаешь, у попов была красивая сказка...

— Вот только поповщины не надо!

— Да погоди ты. Шалаву одну хотели камнями побить насмерть, а этот их Христос сказал: вы сами-то, ребята, кто такие? Святых не наблюдаю! Так что разошлись, пока я добрый! А шалаве сказал: иди и впредь не балуй.

— Ну да, — поразмыслив, мрачно подхватил Сережка. — И она так усовестилась, что записалась в народovolки. И под римского кесаря бомбу кинула.

Мы помолчали, ощущая, как распрямляются согнувшиеся было спины, а уныние, точно ненароком пролитая с небес ледяная густая вода, высыхает на нас обоих, испаряется стремглав под семейным солнышком, и облегченно захохотали. Все. Жизнь взяла свое.

Сын, еще посмеиваясь, встал, благодарно коснулся рукой моего плеча и, повернувшись, пошел к двери. На пороге оглянулся.

— Да, я же совсем забыл сказать. Надя нас на будущей неделе зовет на какое-то культурное мероприятие. В литературное кафе, что ли...

От горла до паха покатила медленная ледяная обвал.

— Нас? — с трудом сохраняя небрежный тон, спросил я. — Или все ж таки тебя?

— Представь — нас всех. Маму, тебя, ну, меня. Она же, знаешь, светская такая, благовоспитанная... Типа «будем дружить домами». И вся в искусстве, в литературе, в поэзии... В Третьяковку вот водила меня...

— Ну и как? — не удержался я.

— Облачность ноль баллов, видимость хорошая, — ответил он. — Теперь вот какие-то ее знакомые пронюхали про диспут о современной литературе, это жуть как престижно у них считается, чтобы туда попасть. А она сразу нас хомутает. Пойдешь?

— А маме ты говорил?

— Нет еще. Сейчас вот к слову пришлось.

Не было ничего проще, чем отказаться. Я уже собрался было так и поступить. Уже открыл рот. И тут-то и кинулся башкой в омут.

— Честно говоря, я бы сходил. Грех терять случай посмотреть на властителей дум в естественной обстановке.

— Тогда я так и передам.

— Передай. И маме скажи, не забудь.

Оставшись один, я понял, что на ум уже ничего не идет. Надо было успокоиться и хоть чаю выпить, что ли...

Маша сидела за просторным кухонным столом, присматривая, верно, за готовившимся дать пену бульоном, и работала — судя по всему, правила какие-то свои лекционные наметки. Похоже, наспех. Новые указания поступили, не иначе. В глаза мне бросилась крупная, свежая правка красным карандашом: зачеркнуто было «Сохранение и укрепление выстроенной ими тюрьмы народов являлось для русских предметом национальной гордости» и поверх, с выгнутым залетом на чистое боковое поле страницы, размашисто вставлено: «Русский царизм старательно стравливал находившиеся под его гнетом народы и сеял между ними бессмысленную вражду, самым этим народам ненужную и не свойственную».

После того вечера Надежда не вставала между мною и Машей ни разу, ни вживе, ни холодным призраком, мешающим коснуться друг друга; и все же что-то происходило с нами. Вирус. И не понять было, кто оказался ему подвержен сильнее.

Первый жутковатый сигнал послала мне наша прогулка в Сокольниках.

В прошлый выходной, улучив сверкающий золотом и синевою погожий день, мы отправились в любимый парк. У нас получалось выбраться туда от силы два-три раза в году, и всякий выход долго вспоминался потом как яркая перебивка безмятежностью нескончаемой череды серых хлопот. Как вспышка истинной жизни. С гордостью за дело рук человеческих мы доехали до парка на гулком, все еще непривычном метро и неторопливо пошли сквозь шелестящую тишину по любимым тропинкам. Загребали ногами листья, как прежде, я вел ее под руку, как прежде...

И были каждый сам по себе.

Не о чем оказалось говорить. Впервые. Я-то рассчитывал, что мирное блуждание среди выученных назубок, давно уже в лицо узнаваемых деревьев, кустов и уютных лавочек нас реанимирует, мол, деревья те же, скамейки те же, и мы станем те же; не тут-то было. Наоборот. Заповедник свободы и покоя стал будто картонным. В обрамлении неизменных красот мы окончательно ощутили, что изменились. Ошеломленный, я пытался чуть ли не по-бабьи щебетать обо всем сразу, наугад нащупывая, на что жена срезонирует, пытаюсь разговаривать ее и снова соединиться с ней, как всегда прежде: смертельно соскучившись друг по другу за целые недели рабочих авралов, когда мы разве что парой фраз успевали перекинуться утром или перед сном, мы под этими самыми кронами оставались наконец наедине, в сладостной неторопливости — и наговориться не могли, и смеялись, как дети. А теперь мои слова на пути валились наземь вокруг жены, точно мрущие на лету мухи.

Она оторвалась от бумаг и подняла голову. Сдвинула на лоб очки.

— Ну как? — спросила она.

— Что? — спросил я.

— Работаете?

— Ух, работаю.

— Напряженно?

— Что ты имеешь в виду? Работаю напряженно или в мире напряженно?

— В мире.

— В высшей степени.

— Слушай... — нерешительно протянула она. — Я тебя никогда ни о чем не спрашиваю, у вас там все секретно, я знаю. Но сейчас даже в очередях говорят, что с Польшей какие-то проблемы. Претензии немцев на Данциг...

— Никаких проблем, — сказал я, осторожно трогая гладкий бок чайника. Горячий. Потянулся и снял с полки свой стакан с краснозвездным подстаканником. — Йэшче Польска нэ згинэла.

— Я серьезно, — сказала Маша.

— И я серьезно. Оттяпали под шумок у несчастных чехов Тешин... Дескать, если эсэсовцам можно, чем мы хуже?

— Ну, знаешь, тешинский повят — это действительно исконные польские земли.

— Маша, Берлин — исконно славянский город. Может, сделаем предъяву фюреру?

— Не смешно, — сухо сказала она. — Я хочу знать только одно: мы спасем Польшу?

— Кто бы нас спас, — ответил я.

Она негодуяще помотала головой и надела очки снова. Будто отгородилась.

— Этот ваш вечный эгоизм... — сказала она.

Властители дум

В последний момент Маша отказалась идти с нами. И голова у нее разболелась, и с годовым отчетом она не поспевает... Странно. Сама же поначалу ухватилась за идею побаловаться культурой.

В дыму первого морозца светили окруженные мерцающими пузырями московские фонари. Сновали по Садово-Кудринской да по Малой Никитской приодевшиеся, забывшие хоть на субботний вечер про вражеское окружение и про линию партии возбужденные и добрые в преддверии отдыха люди. Стоявшие у входа тесной группой молодые, беспримесно веселые, издалека замахали руками Сережке и, надеюсь, мне, и окружили нас, и с пол-оборота загладели о чем-то своем, так что я сразу оказался от них наособицу. Буржуазные церемонии тут были не в чести; Сережка меня даже не представил никому, ни с кем не познакомил — мол, и так разберемся, по ходу. Я прятал глаза; они не увидели Надежду сразу и хотели немедленно ее нашарить, вырвать из гущи себе на потребу, и потому я не смел не то что озираться в поисках, но вообще уткнул взгляд в асфальт. И едва не споткнулся на ступеньках перед входом. Тогда ее голос, тупо ударивший меня в сердце, вдруг запросто назвал меня по имени-отчеству, а ее пальцы подхватили мой локоть.

— Не тушуйтесь. Мы совсем не марсиане.

— Да и я не инженер Лось, — нашелся я, вовремя вспомнив Толстого с его слюнявой «Аэлитой».

— Я знаю, — сказала она. — Вы лучше. Надежнее.

Я наконец взглянул. Ее беретик съехал чуть набок. Из-под него фонтаном били пахнущие чистотой волосы. Ее глаза смеялись, щеки покраснелись, улыбающиеся губы были полуоткрыты. Я чуть не взвыл с тоски. Другой рукой она подхватила под руку Сережку и так, крепко спаянной троицей, мы вошли в клуб.

— Вообще-то говоря, — начал Сережка, — субсветовые эффекты во время марсианской экспедиции можно было описывать только по крайней неграмотности...

Внутри в фойе стоял штатский патруль — как я понял, более играя, нежели кого-то от кого-то охраняя всерьез. Ребята резвились, не ведая, куда девать избыток молодого юмора и задора. Старший караульный с каменным лицом спросил: «Среди созвездий и млечных путей?» Парень в кожаном полупальто, бывший в нашей компании, надо полагать, вроде заводилы, сурово отчеканил: «Советская проза всех развитей!» И нас всех с хохотом пропустили.

В зале кафе, куда мы вошли, раздевшись в роскошном и даже несколько старорезжимном гардеробе, оказалось полутемно. На сцене торчали микрофоны и громоздился музыкальный инвентарь, живо напоминая последние сцены «Веселых ребят». Ну да, ага. Вот именно. Тюх, тюх, тюх, разгорелся наш уют... Овальные, обильно сдобренные салфетками столы были обсежены мужчинами в костюмах с галстуками и женщинами в вечерних платьях и даже серьгах. Перед кем-то стояли тарелки,

перед кем-то графинчики и рюмки, но, когда мы вошли, все в основном слушали. На сцене пока не пели, но говорили. Один говорил.

Обмениваясь вполголоса только самыми необходимыми репликами, мы не без труда нашли свободный стол и принялись гнездиться вокруг него. Надежда так и держала нас с Сережкой по бокам вплотную к себе; ее обнаженные плечи мерцали, будто яшмовые. Я, зажавшись в железные рукавицы и оттого начав вести себя, как на работе, на саммите каком-нибудь, с автоматической галантностью отодвинул для нее стул от стола, предлагая садиться. У нее с веселым удивлением взлетели брови.

Оказалось, докладчик напоминал собравшимся коллизию, из-за которой разгорелся сыр-бор. С неделю назад в «Красном литераторе» вышла передовица, поставившая буквально все перспективы пролетарской словесности в зависимость от отмены цензурного запрета на то, что называют непечатными выражениями. По-простому — на матюги. Новая жизнь требует новой литературы. Новой литературе нужны новые выразительные средства. Основополагающие принципы социалистического реализма обязывают писателя, если он действительно честный и преданный идеалам марксизма-ленинизма-сталинизма советский писатель, отображать жизнь не в эстетском застое, но в революционном развитии. Как следствие — повседневную речь народа он тоже должен отображать так, как она есть, без лакировки и ханжества.

— Современный читатель презирует святош и чистюль с их высосанными из пальца проблемами и велеречивостью феодальных времен, — по-революционному жестикулируя кулаками, чеканил человек на сцене. — Он им не верит. Он не верит, что у таких персонажей есть чему поучиться. Речь современного человека труда конкретна, искренна, сочна и бьет точно в цель. На такую речь мы и должны ориентировать читателя. Нет в наше время более важной проблемы у советской культуры, нет более масштабной задачи, чем добиться наконец полной отмены запретов на то, что старорежимные фарисеи продолжают на буржуазный манер называть обценной лексикой!

Потом выяснилось, что та программная статья не только нарисовала желанную перспективу, но и призвала к конкретным действиям. А именно — под опубликованным воззванием с требованиями отменить «позорные мещанские запреты» и «дать наконец литературе говорить языком живой жизни» следовало подписываться. Когда на документе накопилось бы достаточное количество известных и даже громких имен, его предполагалось передать напрямую в Наркомпрос.

Скандал разгорелся четыре дня назад, когда активисты с воззванием наперевес пришли, вымогая подпись, к Ахматовой (это поэтесса такая), и она только что не спустила их с лестницы.

Принесли вино — хоть залейся, и закуски — бутербродики с икрой, с красной и белой рыбой. Я и не знал, что партия этак балует своих мастеров культуры. На кремлевский буфет тянет. Сам пугаясь своей смелости, я, чтобы чокнуться, решительно повернулся к чутко тянувшейся в сторону говоруна Надежде, и ее приоткрытый рот и блестящие глаза оказались от меня на расстоянии вытянутых губ. В сумерках зала зрачки были огромными, точно от белладонны или любви. Я отшатнулся, заслонившись бокалом, как щитом. Тукнул его краем в ее бокал.

Потом, взяв себя в руки, потянулся мимо Надежды к Сережке и чокнулся еще и с ним.

— Будьте счастливы, ребята, — отечески произнес я.

— Взаимно, батюшка, взаимно, — сказал сын, салютуя мне своим бокалом, а потом разом, видно, что с удовольствием, махнул до половины.

Надежда улыбнулась.

— Только все вместе, — уточнила она и пригубила.

Шут его знает, что она этим хотела сказать. Чтобы не выдумывать слишком уж лестных для себя, вконец нескромных толкований, я неторопливо, но не прерываясь, время от времени катая вино от щеки к щеке, глоточками вытянул весь бокал. Вкусно. Мягкое тепло закралось в солнечное сплетение, воровато тронуло сердце.

Человек на сцене продолжал неумоимо месить кулаками воздух. Точь-в-точь Троцкий на дивизионном митинге.

— Может, эта святая блудница хочет сказать, будто не знает таких слов? Никогда их не слышала и не говорила? Может, она всю жизнь пролежала на розовых лепестках? Да нет! Ходила она по Шпалерной, моталась она у «Крестов»! Может, пока она моталась у «Крестов», ни одного крепкого словечка не произнесла? Не верю! Вот не верю, и ни один нормальный человек не поверит этой старой ханже. Просто она кривит душой! Хочет быть красивее, чем есть! Не любит правду, не признается! А может, и пуще того? Может, барынька намекает, что мы все по сравнению с ней быдло? Что ж! Умеющие кое-как рифмовать старорежимные распутницы нам не указ, и мы ей тоже напомним! Все разом!

— Ну и хамло, — вполголоса сказал сидящий напротив меня рослый парень, произносивший у дверей отзыв на пароль. И окончательно мне понравился.

В конце концов распечатку воззвания пустили по столам, чтобы всяк мог незамедлительно поставить подпись. По заключительным фразам речи можно было понять, что воззвание в нынешней редакции дополнено осуждением «некоторых безнадежно отставших от жизни двуличных стихоплетов и стихоплетов, ставящих палки в колеса стремительному паровозу новой литературы».

— А вы как к мату относитесь? — вдруг спросила персонально меня Надежда.

И я заметил, что на меня уставились за нашим столом все. Что ж она им наплела про меня, недоуменно подумал я.

— Знаете, товарищи, — сказал я, — мне его жалко.

— Жалко? — удивленно переспросила задорная конопатая девушка, сидевшая рядом с рослым.

— Ну конечно. Это же слова-реакции, слова-физиологизмы. Вот если ударил себя молотком по пальцу или уронил топор на ногу, непременно надо сказать... — я нарочито запнулся. Они замерли, предвкушая, как я бабахну. — Ну, например, «блин», — с улыбкой обманул я их ожидания. Они облегченно и разочарованно перевели дух. — Тогда сразу становится не так больно. Если это говорить на каждом шагу, если читать в книжках и газетах, то что тогда останется для молотка по пальцу? Вы представьте, чем придется снимать боль, скажем, монтеру, когда ему на ногу рухнут тяжелые клещи? — я выждал и голосом типа «дама с камелиями» с придыханием воскликнул: — Ах, боже мой!

Молодежь захихикала от души.

Не знаю, моя ли в том была заслуга, или так оно случилось бы и без моего натужного юмора, но наша компания в полном составе пренебрегла воззванием и пошла его подальше. В смысле — дальше.

— Кто же вы все-таки по работе? — спросила Надежда, когда мы единодушно спроводили на соседний стол дурацкую и подлую бумажку. — Я никак не могу понять. Мне иногда кажется, вы тоже писатель.

— Ну что ты, Надежда, — сказал я. — Ты мне льстишь. Я всего лишь клерк в аппарате правительства. В Наркомате по иностранным делам... Ох! Вот опять перепутал. Никак не привыкну... По новой конституции надо говорить не «по иностранным делам», а «иностранных дел»... В общем, бумажки перекладываю.

Она смерила меня взглядом; сперва он был просто недоверчивым, а потом как-то вдруг пропитался укоризной.

— Тоже врете, — сказала она.

— Почему ты мне не веришь?

— Потому что врете, вот и не верю. От чиновников пахнет пылью или сургучом, — брезгливо сказала она и, помедлив, задумчиво добавила: — А от вас пахнет медом.

Все-таки я тогда угадал, подумал я. Они нас носом и выбирают, и отвергают.

— И что это значит?

— Сама еще не знаю, — ответила она.

Мы засмотрелись друг другу в глаза. Я опомнился первым, отвернулся. Будто бы выпить. Долил себе из бутылки и, сделав пару глотков, попытался обратить все в шутку.

— Гречишным или липовым?

Она не поддержала.

— Неважно. Мне важнее понять: пчела я или кто.

— Глубоко, — сказал я. Я не мог понять, кокетничает она или откровенничает, флиртует или раскрывает душу. Слишком уж мне хотелось, чтобы второе. И я прятался за первое.

Из-под потолка заиграли музыку, и Сережка позвал Надежду танцевать. Она не ломалась, вскочила сразу и, пока он за руку тащил ее в свободную часть зала, коротко обернулась на меня, будто прося то ли разрешения, то ли прощения. И тут же отвернулась.

Мой пожилой организм уже просился до ветру. Было ужасно неловко, сидя рядом с Надеждой, время от времени ощущать грешное напряжение в паху, но стократ стыднее оказалась резь в мочевого пузыря.

Пойди я чуть раньше или чуть позже...

В общем, я пошел именно тогда, когда только и смог перехватить внезапно зацепивший меня взгляд вроде бы незнакомой женщины, как раз встававшей из-за самого неудобного, прямо у выхода из кафе, столика. Она собралась, по-видимому, уходить; если бы она не поднялась, то ни она меня не увидела бы за спинами сидящих, ни я ее. Судя по тому, что при ней не было ни друга, ни подруги, я подумал, что она либо не дождалась того, кого ждала, либо, наоборот, кто-то оставил ее одну. В ее позе, в ее движениях была некая безнадежность; я был бы недостоин своей работы, если бы не умел вычитывать такое влет. Я отпрянул взглядом, но боковым зрением успел уловить, что, увидев меня, она изумилась и замерла, как бы заколебавшись с уходом; ее лицо продолжало маячить у меня перед глазами, пока я искал свой нужник и пока мыл руки потом. А когда я шел обратно, непринужденно не глядя в ее сторону, то обнаружил, что она снова смиренно сидит на покинутом было месте.

Теперь ее лицо казалось мне смутно знакомым.

Только этого мне не хватало.

Я попытался успокоить себя тем, что отнес ложные узнавания на хмель. Вероятно, пытаясь утопить плотского беса, я нагрузился и сам. И, похоже, с бесом как раз не очень-то преуспел, коль мне мерещится внимание незнакомок.

Лавируя между столами, я пошел с нарочитой неспешностью, глубоко, ритмично дыша и нелепо надеясь до возвращения к своей компании протрезветь; и тогда вместо крошева отдельно летающих слов вокруг меня, накатывая одна за одной, заколыхались волны чужих бесед.

— ...До чего же спокойно, размеренно, глубокомысленно люди жили. Одному мерещился закат Европы, другому конец истории... Даже не понимали, на краю какой пропасти стоят. А вот пройдет годик-другой, и где-нибудь в сороковом или сорок первом им вгонят по самые гланды, какой тут конец истории...

— ...Я тебе вот что скажу... Ик! Культурный москвич — это тот, кто, когда поест, сразу начинает пиздеть про ГУЛАГ...

Но тут разговоры задавил воем и хрустом динамиков сунувшийся подбородком в микрофон очередной человек на сцене. Уже не тот, что агитировал за матерщину, а типично эстрадный; если я не путаю, таких почему-то называют не по-людски диджеями. За его спиной выстроились готовые к бою лихие музыканты в невообразимых робах, вроде как металлурги у мартенов, в защитных очках на пол-лица, но в галстуках-бабочках.

Вой медлительно опал, и немного отстранившийся от микрофона диджей жизне-радостно выкрикнул:

— А теперь любимая нами всеми группа «Конница и модница» урежет классику!

Расфуфыренные металлурги с готовностью впаяли по своим струнным, духовым и ударным. По ударным — в особенности.

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне.
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине!
У-ля-ля-ля-ля!
Ех, ех, ех, ех!

Я уже видел, подходя к нашему столу, что Сережка и Надежда всё танцуют, танцуют обнявшись и почти прижавшись друг к другу, и мне бы следовало, конечно, по-отцовски радоваться за них, а вот не получалось. И потому меня все раздражало. Даже эта пусть дурацкая, но вполне ведь невинная песня. Ну да, кафешантанная поп-культура даже изысканный стих, памятный мне еще по молодым годам — только вот не вспомнить, кто его написал, — ухитрилась превратить в шлягер. Но что уж тут ужасного? Однако мизантропия хлынула так, точно ее долго копили в водохранилище, и вот пустили наконец крутить турбины души: чем тебе скалы-то помешали, бездельник? Миллионы лет формировались. Красивые, наверное, были. Неповторимые. А сколько в них живности всякой обитало! Но приходит утонченный эрудит, который сам про себя уверен, что и мухи не обидит, а жаждет одной лишь красоты, и между делом — тюк! Тюк! Дурацкое дело нехитрое, ломать не строить. А осел, бедняга, отдувайся.

Умники ломают, сами не ведая зачем. Для самовыражения и самоуважения. Чтобы оставить след в мироздании. Для красного словца. Чтобы заметили другие такие же умники. Потому что мысль так пошла. От глубинной неуверенности в себе: ведь любого строителя может постигнуть неудача, но разрушителю хотя бы частичный успех гарантирован. Из благородного стремления к совершенству: в храм не ходят, лба не крестят, но безупречного совершенства хотят уже теперь. Впрочем, порой и не очень из благородного: чтобы совершенство поместилось во дворе между коттеджем и гаражом...

А ослы разгребай за ними.

Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне...
Е, е, е-е-е!

Во-во, подумал я.

Загляните в любую песочницу. Уже в три года дети делятся на тех, кто, высунув от сосредоточенного напряжения язык, печет куличи, и тех, кто с хохотом их топчет. Из первых вырастают творцы, созидатели, строители и другая рабочая скотина. А из вторых... Из вторых много кто вырастает. Тут, наверное, могло бы поправить дело то, о чем мы так славно пофилософствовали давеча с сыном, — осуждение со стороны окружающих. Поэтому, взрослея, эти вторые стараются собраться замкнутой кастой, наперебой одобряют и хвалят друг друга, а всех, кто их осуждает, что было сил полагают злобными, агрессивными недоумками.

Песня кончилась.

Танцующие замерли явно в нетерпеливом ожидании, когда грянет снова и можно будет снова. Только вот Надежда как-то затрепыхалась у Сережки в руках. И тут запели арфы и флейты, а потом сладкий, как патока, тенор полил в зал тягучую сахарозу:

За фабричной заставой,
Где закаты в дыму,
Жил парнишка кудрявый,
Лет семнадцать ему.

Ударник со всей дури влупил по барабанам так, будто конный взвод галопом проскакал по деревянному мосту; истошно взвыли усиленные электричеством гитары, и смиренное сладкоголосье смел бандитский хриплый баритон:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки клеш,
Соломенную шляпу,
В кармане финский нож.

И вновь в потрясенные уши потекли едва слышные после акустического удара райские арфы и ангельские голоса.

Перед девушкой верной
Был он тих и несмел.
Ей любви своей первой
Объяснить не умел.
И она не успела
Даже слово сказать.
За рабочее дело
Он ушел воевать.

Опять взревел тяжелый металл.

Я мать свою зарезал,
Отца свою прибил,
Сестренку-гимназистку
В колодце утопил!

Как кастраты из папской капеллы, хрустально зазвенели бесплотные ангелы:

«Умираю, но скоро
Наше солнце взойдет...»

Шел парнишке в ту пору
Восемнадцатый год.

И снова хрипло отыгрались потные волосатые бесы:

Сижу я за решеткой
И думаю о том,
Как дядю-часового
Пристукнуть кирпичом!

Коллаж был элементарен, на том и строился эффект — и все же что-то угадывалось в нем не простое, но глубинное, даже общечеловеческое: вечная потуга ополшить идеал реальностью, желанное — сущим, мечту — явью. Если поверять одно другим, сравнивать их по убедительности, идеал всегда окажется в дураках. Беспроигрышная позиция, наверняка за умного сойдешь, за честного, не желающего жить в розовых очках. Ломай себе слоистые скалы...

Если мы — ослы, то кто те?

И пока ум подыскивал слово, из памяти сами собой выплыли стройными рядами прущие в поисках свежей кровушки изголодавшиеся клопы.

Чем бы они питались, если бы в жилах мечтателей не текло что-то живое? Над чем бы иронизировали?

Запахавшиеся, возбужденные, щеки пунцовые, рты до ушей, из кучи малы скачущих в странном нынешнем танце выпали Сережка и Надежда и, держась за руки, вернулись к столу, где мрачно и гордо восседал я весь в мыслях о роде людском, наедине с объедками и недопитым.

Надя упала на стул рядом со мной, от нее веяло жаром. Молодым разгоряченным телом. Радостью невозбранно дурачиться что есть сил. Сережка сказал:

— Ну, тогда оставляю тебя под надежной защитой.

— Ага, — энергично кивнула она, еще чуть задыхаясь; ее грудь под тонкой тканью вздымалась часто и без утайки. И что ей, в самом деле, таиться? Девушка просто дышит.

А он торопливо зашагал обратно, где смешавшиеся пары принялись строить какой-то сложный многослойный круг.

— Это что они там затевают? — спросил я.

— Сиртаки, — небрежно ответила она.

Я не понял, но не стал уточнять. Сиртаки так сиртаки...

— А ты что же отлыниваешь?

— Туфли новые сдуру надела, — огорченно призналась она. — Теперь как русалочка — хожу по ножам. А вы почему ни разу не присоединились?

— Я не умею.

— Не верю. Сережка наконец раскололся. Я уж и так и этак... Вы, оказывается, дипломат.

— Ну, вроде того. Средней руки.

— Так вас разве не учат специально танцам?

— Тех, кто должен тамошних дам окучивать, может, и учат. А я — так... Рабочий осел.

— Почему осел? — удивилась она.

Я сделал широкий жест в сторону сцены.

— И кричит, и трубит он — отрадно, что идет налегке хоть назад.

Она засмеялась.

— А! — понимающе сказала она. — Из Блока!

— Точно! — я хлопнул себя по лбу. — Блок. Я все никак вспомнить не мог. Помню — смешная такая такелажная фамилия...

Она посмотрела на меня недоверчиво и пытливо, словно хотела удостовериться, что я не придуриваюсь. Потом сказала:

— Ну, тогда я буду та, что круженьем и пеньем зовет.

Легко поднявшись, она выгнулась стрункой и красиво вскинула обнаженные руки — точно две скрестившиеся лебединые шеи вытянулись над нею. Крутнулась на месте, изящная и гибкая; размашисто полыхнуло платье, волосы вздулись широким черным пропеллером.

— А спою как-нибудь потом. Тут и без меня певунов хватает, вон опять готовят-ся... Вы лучше скажите мне вот что. Раз вы дипломат. Что у нас в дипломатии творится? Мой папа говорит, мы опять переживаем. У всей Европы с Гитлером вполне приличные отношения, и только мы задираемся. Плохой, плохой... Вконец затравили беднягу. В конце концов, это дело германского народа. Они там пусть и разбираются. Нельзя же так! У нас у самих-то что, проблем уже не осталось? Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!

Я глубоко вздохнул и досчитал до десяти.

— Это есть наша самая большая военная тайна, — сказал я. — Плывут пароходы — привет Европе. Летят самолеты — привет Европе. А идут пионеры — салют Европе.

— Нет, ну правда, — кланчащим детским голосом сказала она. — Мне же интересно. Это какая-то тонкая стратегия?

— Ага, — сказал я. — Именно.

— Ну, как хотите, — обиделась она. — Я к вам всей душой, а вы...

— А я к тебе всей дипломатией.

— Вы в основном в Москве? — спросила она. — Или больше в разъездах?

Я прикинул. Так на так, наверное...

— Больше в Москве, — сказал я.

— Это хорошо.

— Почему?

— Не было еще такого, чтобы я хотела и не добилась. С некоторых пор меня заинтересовали секреты нашей дипломатии.

— Надежда, не забивай себе голову этой нудятиной. Мой тебе совет.

— Не отвертитесь, — сказала она. — Даже и не надейтесь.

— Ты лучше стратонавтикой интересуйся, — посоветовал я. — Такое красивое и мужественное занятие.

— А я интересуюсь, — серьезно ответила она. — Уже четыре месяца. Я даже знаю, что гондолы стратостатов — это прототипы будущих космических кабин. Сережка только об этом и говорит.

— Ну и не лезь в политическую грязь, — сказал я и сразу ощутил, что это прозвучало грубо. Но слово не воробей. Она отпила еще глоток и ответила:

— Я всегда все сама решаю.

Из кафе мы ушли вместе, и в гардеробе одевались вместе, но стоило выйти на морозец, я сказал:

— Вы как хотите, а я погуляю.

Сережка нахмурился:

— Если я приду, а тебя еще не будет, мама мне голову оторвет.

Я усмехнулся и прощально помахал ему рукой.

— Мы вас ничем не обидели? — вдруг крикнула мне вслед Надежда.

Я оглянулся:

— И-а! И-а! И-а!

С губ моих один за другим вывалились в ночной воздух текучие клубки мерцающего пара. Ребята засмеялись, хотя, конечно, только Надежда могла понять, с чего это я вдруг перешел на ослиный язык. Но засмеялись все. Наверное, это было и впрямь смешно: пожилой дядька подвыпил и слегка впал в детство; а настроение у всех было такое славное, такое легкое, что палец покажи — и уже весело.

Мне хотелось остаться одному. Если не вдвоем с ней, то одному.

В этот поздний час на улицах стало безлюдно. Раскатисто звеня, прокатил освещенный изнутри, как аквариум, трамвай с заиндеветшими по краям окнами; видно было, что полупустой. От морозных вдохов ноздри склеивались и будто тоже покрывались внутри инеем — это было приятно, напоминало детство. Нарочито медленно я шел к набережной, чтобы полюбоваться с моста сияющим в ночи, как сказочный коммунизм, Кремлем. И тут сзади меня окликнули по имени.

Я резко обернулся.

Нет, это была не Надя. Уж конечно, не Надя. С чего бы Наде гоняться за мной.

Это оказалась совсем другая женщина. В выношенной шубке, с головой, едва ли не по-старушечьи замотанной в пуховый платок, с затравленным взглядом, заранее умоляющим и заранее не верящим в то, что получится умолить.

Сначала я узнал в ней ту, что собиралась уходить из кафе и так внезапно передумала, увидев меня.

Потом узнал уже в той...

— Ты меня не узнаешь? — спросила она.

Это была Аня. Анюта, Аннушка, первая моя, еще гимназическая, любовь.

Впрочем, тогда она этого так и не узнала. А потом мы и не виделись. Вот до этого вечера. Я никак не умел в детстве об этом сказать. Да, собственно, и теперь не научился. А уж в детстве...

Мои добрые родители отдавали последние гроши, на грань нищеты себя поставили, только чтобы сын получил образование. Так я попал в гимназию. Ни они, ни я даже не подозревали, насколько белой вороной я там окажусь. Им не довелось убедиться, что они голодовали не зря и учение мне все-таки пригодилось в жизни; пока я геройствовал на фронтах, их свалил сыпняк, и я даже не знаю, где их схоронили. Я учился, переходил из класса в класс, на это мне ума хватало с лихвой, но его никак не хватало, чтобы понять или хотя бы почувствовать, насколько я отдельно от остальных. Мне казалось, я почти вместе. Ребенок не видит пропасть, ему, с его маленьким ростом, видны только канавки, ямки, рытвинки, которые, кажется, так легко перешагнуть. Вот еще, мол, разок покидаемся снежками, вот еще одну книжку прочитаю из тех, про которые они говорят, и врасу.

Они все были сплошь: Руссо-Шамиссо, Рембо-Мирабо, Мюссе-гляссе, Сантана-Монтана... А я — я неплохо разбирался в навозе. Я знал ласковую поговорку «Сынок, съешь блинок» (чтобы прочувствовать ее вполне, надо представлять, что блины у нас в доме бывали разве что на Масленую) или практичную «Сей в грязь — будешь князь» (в том смысле, что сажать надо рано, пока еще земля по весне не просохла). Я смешил сверстников присказками «Моряк с печки бряк, растянулся, как червяк» или «Коза-дереза, прямо девка-егоза», совершенно не ощущая сексуального, а не ровен час, и скотоложеского подтекста — ведь для меня коза была просто наша домашняя Лушка с мягкой шерсткой, доверчивым носом и теплым выменем, которую нипочем нельзя забыть покормить; а если вдруг наозорничает, вот тогда и пригодится эта присказка... Или, например, если кто-то из ребят вдруг ненароком пукнул, я, по деревенской привычке, веселил их прибаутками «Перни раз —

потешь нас!» или «Сери, Агаша, пока изба наша!». Мне даже в голову не приходило, что они смеются не вместе со мной, а надо мной.

Я смотрел сверху вниз на осунувшееся, изможденное лицо Ани, на ее неловкую скованность, какой и в помине не было в те давние годы, когда в любом разговоре со мной она чуть ли не поминутно всплескивала руками: «Ты что, этого не читал? Ты что, этого не видел? Ты что, этого не знаешь?» А из-под постаревшего, костистого лица, из-под нездоровой пористой кожи мало-помалу начинало светиться иное, бывшее, самое красивое, какое только может быть, потому что именно тогдашняя красота каленым паттерном, неизгладимой печатью бьет по всем будущим годам, сколько бы их ни было впереди, и остается единственной красотой на всю оставшуюся жизнь.

— Аня, — пораженно сказал я. — Откуда ты, Аннушка?

Она принужденно улыбнулась.

— Из кафе. Я там ждала. Надеюсь попросить председателя нашей группы журналистов о помо... об одной вещи. Он обещал прийти, я по телефону заранее договорила. И не пришел. Да я и знала, что не придет. Я уж уходить собиралась и вдруг увидела тебя — такого... важного... Я подумала, это судьба.

— Какой же я важный, Аня? Я ничего не понимаю. Мы же не виделись... Чуть ли не сорок лет не виделись. Аня, как ты меня узнала?

— Ну, ты не так уж переменялся. А потом, я случайно знаю, что ты теперь среди начальства. Высоко взлетел...

— Анечка, стоп. Здесь холодно и неудобно. Что нам тут стоять? Пошли к нам, еще не очень поздно, а домой тебя на машине отвезут, я позвоню в гараж. Поболтаем... Ты как? Ты в Москве? Ты про наших про кого-нибудь знаешь? Всех же разбросало кого куда...

— погоди, — сказала она, никак не отвечая ни голосом, ни взглядом на мой внезапный и совершенно неподдельный восторг. Ее шелушащийся лоб собрался морщинами. — погоди, не гони. Я специально пошла за тобой и ждала, когда ты один останешься, потому что вдруг подведу тебя и твою молодежь под монастырь. Может, ты и общаться со мной теперь не захочешь. И уж всяко мне, наверное, нельзя к тебе домой, а тебе нельзя ко мне, я же теперь чэзсвээр.

Падение с высот бурлящего веселья и благородной грусти было столь внезапным, что я, даже приложившись всем телом, не сразу опомнился.

— Что?

— Член семьи врага народа, — пояснила она, и вдруг ее голос напомнил мне тот, давнишний, когда она вот так же снисходительно и почти с презрением поясняла мне то, что вообще-то должны на зубок знать все. — Веню вот уже полторы недели как взяли. Без объяснений, и ни от кого не могу добиться ни слова...

Я сглотнул.

Улицы совсем опустели. Ни людей, ни машин.

Опять истошно зазвенел, разухабисто выворачивая на набережную, сверкающий слепыми от инея окнами трамвай.

— Кто такой Веня?

— Мой муж. Вениамин Шпиц, журналист. Ты, наверное, не знаешь.

— Так, — сказал я. — Ну, говори, говори.

— А что тут говорить, — она кривовато усмехнулась. — Все как у всех. Но когда я тебя увидела, я подумала... Может, ты... ну... можешь как-то помочь?

Запинаясь, она выдавила сокровенное и умолкла. Потом ей, наверное, показалось, что она перегнула палку и запросила слишком много сразу.

— Ну, хотя бы узнать, что с ним, из-за чего все это...

— Хорошо, — не колеблясь, сказал я. — Я попытаюсь. Я, как ты понимаешь, не свят дух, но попытаюсь. Но... Аня. Мы так давно... Я не знаю... Как ты живешь?

— Как всегда.

— Но ведь все так изменилось.

— Я не заметила. Мы все в этой стране всегда как подопытные мышки. Один тест на сообразительность закончился, начался другой. Убрали лабиринт с ломтиком сала посередине, поставили кормушку с педалькой, педальку надо нажать лапкой два раза, и кормушка откроется. А мышки... Мышки остались те же самые.

— Ты биолог?

— Я чээсвээр, — ожесточенно сказала она.

Я глубоко вздохнул.

— Ну, про сейчас я понял, но... До этих полутора недель ведь тоже было много всего?

Мало-помалу я отходил от шока внезапной встречи, внезапного обрушения из одной жизни в иную, и воспоминания неторопливой чередой начали проявляться в памяти, как на листах фотобумаги.

— Ну конечно, мы как выпускной отгуляли, так с тех пор и не виделись. Это же конец мая был, как раз после Цусимы. Всё в цвету... Ты в белом фартучке, с бантами... Помнишь, вы кричали: ура микадо! Царю конец!

— А ты не кричал, — сказала она.

— Ты помнишь? — я готов был ее расцеловать за это. — Помнишь? Знаешь, я хотел... Чтобы как все. Но у меня язык не повернулся.

— Зато теперь ты при делах, — сухо сказала она. — Под новым царем устроился.

Черная неподвижная Москва стыла и дыбилась вокруг нас, делая вид, что беззаботно засыпает, и серебрилась непорочным инеем, бодро дышала морозом, светила разноцветными окнами — а моя школьная Аня была чээсвээр, и ненавидела меня за это, и просила у меня помощи.

— Хорошо, — сказал я. — Попробую. Как мне тебя найти?

— Ты обещал?

— Я обещал.

Она попятилась от меня — точно отшатнулась. И уже тогда сказала:

— Проще простого. Спроси адрес в НКВД.

И почти бегом бросилась прочь по будто вымершей улице, которая еще десять минут назад казалась мне уютной и безмятежной, даже какой-то предпраздничной. И ведь правда, скоро Новый год. А что людей нет — так все уже дома, с семьями, чаи гоняют, читают детям книжки вслух, целуются, выпивают; суббота ж... Полы жеваной, плешивой шубки мотались из стороны в сторону, словно подгоняя шлепками ее беспомощные, худые ноги, петляющие каблуками в воздухе.

Перед тем как завернуть за угол, она остановилась так резко, что поскользнулась и едва не упала. Кругом, сколько хватал глаз, так и не появилось ни души, и она могла себе позволить говорить с расстояния трех десятков шагов, будто стояла рядом. Вполоборота глядя на меня, громко спросила:

— Ты ведь был в меня влюблен?

— Да! — крикнул я, нелепо надеясь, что хотя бы это повалит стенку, которую жизнь вбила между нами.

Она мгновение постояла, глядя на меня, как встарь, свысока. Потом вдруг чуть развела руками: дескать, ну, не обессудь, сам дурак.

Назавтра мне повезло. На последних минутах обеденного перерыва я, возвращаясь из столовой, приметил на лестнице выше себя широкий, лоснящийся на спине пиджак Лаврентия и в три прыжка догнал нового главу спецслужб.

— Пламенный партийный, — сказал я.

Он прострелил меня зайчиком от пенсне и ответил в столь же легкой манере:

— Взаимно.

— Слушай, Лаврентий, хочешь делом доказать, что народ всегда прав?

Он молча усмехнулся, не давая поймать себя на слове, но явно приглашая продолжать. Я так и знал, что ему станет любопытно. Я выждал. Пусть и уклончиво, но ему все же пришлось подать голос.

— Народ всегда прав, — согласился он.

— В народе говорят: блат главней наркома.

— Спорно, но и так бывает.

Разговор заструился. Что и требовалось.

— Вот я к тебе, считай, по блату и обращаюсь. Чай, мы не посторонние. Недели полторы назад был арестован такой журналист — Вениамин Шпиц. Или даже еще и не арестован, а так просто. Ты как нарком не мог бы прояснить, что он там начудил? Может, опять ваши перестарались? На молоке обжегшись, на воду...

Память у него была, надо отдать ему должное, потрясающая.

— Шпиц, — сказал он, поморщившись. — Ага. Мыслитель-гуманист. Не имеет права на существование никакая система, если она ставит себя выше индивидуальности, — явно цитируя по памяти, презрительно прогнусавил он. — Пассажир для трамвая или трамвай для пассажира? Человек для государства или государство для человека? Сразу продолжение напрашивается, — заговорил он нормальным голосом и, значит, уже от себя. — Лес для зайца или заяц для леса? Червяк для земли или земля для червяка? Долой океан со всеми его обитателями, если он ставит себя выше одной отдельно взятой селедки... Гуманизм, однако!

— Ну, червяк — это ты уж слишком. Я бы так поставил вопрос: семья для человека или человек для семьи?

— Именно. Курица для яйца или яйцо для курицы... На кой хрен тебе этот краснобай сдался?

— Тайный любовник.

Лаврентий помолчал.

Он был, очевидно, недоволен, но причин с ходу послать меня на берег дальний у него не нашлось, а неформальный обмен услугами в товарищеском кругу дорогого стоит.

— Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Ты у себя будешь? Я отзвонюсь. Хотя не понимаю. Таких гуманистов у нас двенадцать на дюжину...

На этом он мог бы и закончить. Но все же дал понять, что моя просьба ему неприятна. Правда, сделал это предельно тактично, даже с юмором, который у него прорезался иногда. Просто процитировал любимую нами обоими фильму, одну из лучших, что были сняты при старом режиме:

— Знай, Копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез!

Оставалось лишь дружелюбно посмеяться вместе.

Он действительно позвонил. И оказался непривычно многословен, точно, сам того не осознавая, пытался оправдаться.

— Ну, как мы с тобой и думали, ерунда. Ляпал, конечно, как и все они, но если всех, кто ляпает, сажать... Фишка в том, что не на всех пишут. На него вот написали. И ведь и я знаю, и ты знаешь, что девяносто процентов этой писанины — хлам. Кому-то жилплощадь соседа понравилась, кому-то жена сослуживца приглянулась... А не реагировать мы не можем. Сами все время долбим: бдительность, бдительность... И если граждане увидят, что они проявляют бдительность, а власть не реагирует, то... Все остановится.

— Мы у них заложники, они — у нас, — сказал я.

— Ну да. Круговорот дерьма в природе...

По телефону грузинский акцент почему-то ощущался сильнее. «Кругаварот дэрма...»

— В общем, я взял на карандаш, не дергайся. Отделается минимумом.

— Спасибо, дорогой.

— Да ладно, — благодушно отмахнулся он и тут же намекнул мягко, но веско: — Сочтемся.

— А на Ахматову донос уже написали? — не утерпел я.

Он помолчал мгновение, а когда снова заговорил, чувствовалось, что насторожился. Даже акцент почти пропал.

— Откуда знаешь?

— Нетрудно догадаться. Статейками в газетах и воззваниями такую махину не скоро вырнешь, а свобода материться нужна новой культуре во что бы ни стало.

— Циник ты, — сказал Лаврентий, хохотнув, и повесил трубку.

Он сдержал слово. Шпиц получил каких-то два года, да и то его почти сразу расконвоировали, а задолго до истечения срока перевели на поселение. Там он встретил новую жену — дочку какого-то крупного настоящего контрреволюционера, эсера, что ли, и с нею они жили, как говорится, долго и счастливо, перебравшись снова в столицу еще до конца войны. Были родившиеся в новом браке дети. Были премии и награды. Шпиц пережил всех, кто его сажал, и всех, кто за него хлопотал, и уже в конце восьмидесятых стал-таки знаменитым публицистом, на все лады обличая ужасы сталинского террора. Несколько статей написал, например, доказывая, что меня убили по тайному распоряжению вождя... «Новый мир» и «Знамя» с такими статьями в ту пору зачитывали до дыр.

А моя Аня, выцветшая, как старуха, худая, как скелет, умерла в эвакуации в сорок третьем, в полном одиночестве. Умерла глупо, нелепо. Всего-то простудилась. Но никого не оказалось вовремя рядом — микстуру подать, стакан воды поднести. Умерла, зашлась кашлем в горячке моя гордая гимназистка с большим белым бантом на голове...

Я в ту пору был уже так далеко, что ничего этого не ведал и не мог помочь. В последний момент узнал случайно и все, что успел — это ее встретить.

Дружище

Хлесткий порывистый ветер волнами гнал снежную пыль. Струи поземки, ядовито шурша, безголовыми змеями вились по брусчатке. Ритмично хлопали полы шинели замершего подбородком вперед, с уставленной в небо винтовкой ближнего караульного красноармейца, неподвижного, точно шахматная пешка или стойкий оловянный солдатик. Царь-пушку и горку ядер к ней окатывало белесым дымом то слева, то справа; в щелях между ядрами и в зубастой пасти свирепого монстра, ощерившегося из лафета, уже набухли снежные опухоли.

От мороза и ветра у Кобы слезились глаза, и на кончике носа то и дело проступала капля. Он машинально смахивал ее, но через несколько минут она набегала снова.

Вечерело. Белый бегущий снег становился серым, а низкое серое небо — сизым.

Коба положил руку на холодное колесо. На черном, массивном, чугунном его маленькая светлая ладонь выглядела особенно беззащитной; казалась, вот-вот примерзнет.

— Как думаешь, — спросил он, — она правда никогда не стреляла?

Я еще раз посмотрел на бесчисленные сложные рельефы, превращавшие убийственную машину в произведение искусства, и ответил:

— Есть такое мнение.

— Но в принципе могла она стрелять или нет?

— Из такой красоты стрелять — это кем же надо быть, Коба?

Он помолчал и уронил:

— Красота — это для мирных и сытых.

— Да перестань. Как раз на краю все начинаешь видеть и чувствовать особенно остро. И в первую очередь — красоту.

Он отнял ладонь от ледяного чугуна и пренебрежительно отмахнулся.

— Еще скажи, что красота спасет мир.

— А что?

— Не что, а кто. Мы. Большевики.

Что тут ответишь? Ни возразить нельзя, ни согласиться. Даже если кого-то мы и впрямь спасем, то кто спасет нас? Но лучше не задаваться такими вопросами; цепочка может оказаться длиннее, чем мы думаем, и, выбирая ее звеньишко за звеньишком, не ровен час, в поповские выдумки упрешься. Я выждал мгновение и вернул разговор назад.

— А почему ты спрашиваешь?

Он опять помолчал. Смахнул каплю. Бедный парень с винторезом, подумал я. Ему и пошевелиться-то нельзя, если вдруг сопля набежит. Особенно когда такие люди рядом. Небось стоит и в душе клянет нас на чем свет стоит. Уйдем — просморкается...

А мы, как на грех, стоим да стоим.

— Ко мне тут с проектом нового ледокола приходили, — нехотя сказал Коба. — Ты же знаешь, как Севморпуть нуждается в ледоколах. И вот сочинили такую громадину... Чуть не с километр длиной. И название у них уже готово: «Иосиф Сталин».

— Кто бы сомневался, — сказал я.

Он фыркнул в обледеневшие усы.

— Я сразу представил, как будет выглядеть, скажем, заголовок передовицы в «Известиях»: «Иосиф Сталин затерт льдами».

— А сколько сразу народу сажать придется, — подхватил я. — Почитай, всю редакцию.

— Юмор у тебя... — он покачал головой. — В общем, мне эта идея сразу показалась пустышкой. А для очистки совести я проект Крылову послал.

— Великий корабель, — согласился я.

— Потом принял его, все чин чинарем... И он разом эти бумаги, чертежи, расчеты, обоснования, всю эту кипу несчастную двумя руками кидает мне на стол и ядовито говорит: вот, дескать, был у нас Царь-колокол, который никогда не звонил, Царь-пушка, которая никогда не стреляла, а будет еще Царь-ледокол, который никогда не поплывет.

— Сильно, — сказал я, живо представив эту сцену. — Могучий старик.

— Старик-то могучий, я и сам знаю, но вот о чем думали проектировщики? Ты у нас психолог, скажи. На что они рассчитывали?

— На конфетку.

— Конфетку все хотят. Но надо же мозги включать иногда. Слушай, неужели меня так низко ценят? Неужели думают, что если старому Кобе грубо и бессмысленно польстить, он сразу Сталинские премии метать начнет?

— Прodelана большая работа... — сказал я.

Он не принял шутки. Сокрушенно проговорил:

— Как этим людям доверять после такого?

— Не драматизируй. Коллектив хотел сделать тебя приятно.

— Мне не надо приятно! — вдруг рывкнул он. — Меня от такого приятно тошнит! Они что, хотят меня сделать дураком, который согнутую спину ценит больше дела? Мне надо, чтобы работало! Чтобы все работало! Кто честно работает, у того ни один волос с головы не упадет. А кто честно и хорошо работает, тот уж без конфет-ки не останется.

Я только покосился на него, но смолчал.

Иногда у меня едва с языка не срывалось: «Тебе не совестно?»

Глупее подобных вопросов ничего нельзя придумать. Это вроде как женщины спрашивают: «Ты меня еще любишь?»

Если у человека есть совесть, ему всегда за что-то совестно. Не совестно только тем, у кого совести нет. Любой прохожий и меня мог бы так же спросить, и я, если бы захотел ответить искренне, сказал бы: «Еще как».

Ну и что дальше?

Вот я спрошу его, и он, представим на минутку, ответит: «Совестно».

Может, миллионы убитых с четырнадцатого по двадцать первый сразу восстанут из могил, бодро отряхнутся и побегут к станкам, возьмутся за плуги и сеялки? Поведут брачные хороводы, рожать начнут? Или, может, те, кто выжил, но, начав привыкать к рекам крови еще в бессмысленной империалистической бойне, привык к ним так, что иного спора, кроме перестрелки, и вообразить не может — сразу сделаются трепетными человеколюбцами? Может, в Заполярье зацветут олеандры и народ сам собой потянется к Таймыру, в Коми, на Ямал и Колыму, чтобы зашибить большую деньгу и, радикально решая пресловутый квартирный вопрос, прямо по месту работы выстроить просторные семейные коттеджи у теплых вод лазурного Ледовитого океана, заодно давая стране позарез ей нужные никель, медь, хром, золото, лес? Может, вдруг сделаются неколебимыми патриотами те десятки, а то и сотни тысяч простых советских граждан, тайком сходящих с ума от ненависти к новым порядкам, а потому инфантильно путающих эсэсовцев с меценатами и загодя готовых встретить хлебом-солью хоть Гитлера, хоть кого в нелепой вере, что он зачем-то вернет им Россию, которую они потеряли? Может, прибалты, нагулявшие под царями жирок и культурку, ни с того ни с сего вспомнят, как при немецких баронах их секли на мызах и не пускали внутрь городских стен, а вспомнив, в очередной раз повернутся, точно изба на курногах, к западу задом и к востоку передом? Может, финская граница, сама собой приподнявшись, вежливо отодвинется и заново ляжет на карельские мхи уже не в тридцати километрах от Ленинграда, а, скажем, в двухстах? Может, самураи, соблюдая все тонкости восточного этикета, покаянно попросят прощения за причиненное беспокойство, покинут Маньчжурию и перестанут испытывать на излом наши погранзаставы? Может, поляки вдруг проникнутся идеями славянского братства, Крупп объявит о плане конверсии и перейдут на производство сковородок и детских колясок, а Гитлер уйдет в монастырь?

Только для тех, у кого слово и есть их дело, театральщина ценна и значима. Коба сказал: «Совестно». Занавес. Элегантные, упитанные зрители расходятся, рассаживаются в свои авто, переговариваясь вполголоса: ах, сильно, ах, психологично, ах, не в бровь, а в глаз. Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночь черна... И переходят к аперитивам.

Они-то сами хорошие, они замечательные, они никому и ничему не изменяли, никому не причиняли вреда, им в этой жизни ни за что не совестно.

Коба смахнул каплю с носа, пожевал, точно морж, усами, что стали от никоти-на желтыми, как его глаза, и спросил:

— Твой отчет завтра?

— Да.

— Ну, а между нами, кратенько... Как там?

— Если кратенько, то как всегда. Хоть головой об стенку бейся.

Он помолчал, хмурясь, а потом, растопылив коленки под шинелью, чуть присел, глумливо развел руками и сказал:

— Простите, товарищ, но других партнеров у меня для вас нет!

— И у меня для вас, — примирительно ответил я.

Мы неторопливо двинулись к Успенскому собору, и я будто собственным телом почувствовал, с каким облегчением наконец-то позволил себе расслабиться одеревеневший на ледяном ветру красноармеец. Вот сейчас для очистки совести оглянется украдкой, зажмет пальцем одну ноздрю и ударит соплей об землю. Потом сменит руку, зажмет другую ноздрю... Только бы винтовку не выронил, бедняга.

Теперь ветер бодал нас сзади и ощутимо драил нам вьюгой спины.

— Ты ведь через Варшаву ехал?

— Да.

— Что паны?

— Много чего. Что тебя интересует?

— Ну, наверное, то же, что и тебя. Пойдут они вместе с Гитлером против нас? Или по-прежнему кобенятся и не могут даже тут определиться?

— С учетом того, что еще пару месяцев назад они были с немцами вась-вась, а теперь — уже в раздумьях, я думаю, отработают назад. От душевного единения с Адиком они уже отсосали максимум возможного. И начинают это осознавать. Украин у фюрер им не отдаст, самому нужна. А когда до фюрера дойдет, что шляхтичи его кидают, он взбесится реально. Если тебя интересует мой прогноз...

— Не набивай себе цену, не кокетничай. Я ведь уже спросил. Чего еще надо?

— Ладно, Коба, не кипятись. Думаю, сейчас паны постараются этак незаметно и невесомо, на пуантах, перебежать под крылышко демократий. С расчетом получить все, что им обещает Гитлер, а то и побольше, но при том без усилий и риска. Гитлер нападает на нас через Прибалтику, вязнет тут, год-два мы воюем на обоюдное истощение, а потом, все в шоколаде, вступают англичане с французами. Добивают Гитлера в спину, и то, что он успел оттяпать у нас, достается им. Как освободителям одновременно и от нацистов, и от большевиков. И освободители потом отдают это панам за их красивые глаза и антисоветские вопли. Может, паны под конец и войсками поучаствуют, в обозе у демократов. Чтoб хоть разок крикнуть «Хэндэ хох!» и за этот героизм уж наверняка получить все до Волги. Вот такие в Варшаве, я полагаю, девичьи грезы.

Снегопад усиливался. Сумеречно-золотые купола собора, летящие сквозь полосатый ветер, выросли над нами все выше.

— Похоже на правду, — сказал Коба. Помолчал. — Ах, упустили мы шанс.

Обида на неудачу в польской войне сидела в нем куда глубже и ядовитей, чем он обычно показывал на людях. А сейчас, от этих новостей его, похоже, опять торкнуло. Потому что он вдруг с болью проговорил:

— Ну кто ж мог знать, что поляки наши шифровки читают, как свою газету!

Это была правда. Группа Яна Ковалевского проявила себя тогда блистательно, а мы — как полные растяпы. Польский генштаб получал директивы Троцкого раньше наших собственных командармов.

— Прошлого не воротишь, — сказал я. — Всякая революция чревата депрофессионализацией. Это один из ее главных недостатков. Пока кадры нарастут, пока наладишь собственных спецов, да чтобы были на уровне требований времени — а оно, пока мы в революциях друг друга мутузим, на месте тоже ведь не стоит...

Помнишь, как мы хихикали, повторяя одну из любимых обличительных присказок Георгий-Валентиныча: умные нам не надобны, надобны верные. Вот, мол, какой косный и бездарный царский режим! Умных отвергает, на бездарных только и полагается, лишь бы верны были... Но ведь именно всякая революция в стократной мере просто обречена на это!

— Георгий твой Валентиныч... — непонятно пробурчал Коба. Что-то, наверное, хотел сказать про Плеханова нелестное. Но, зная меня, не стал. Помедлил немного, потом повел рукой в сторону собора: — Идеологи мои и это тоже все взорвать хотели. Я не дал.

— А почему? — с неподдельным любопытством спросил я.

Он вдруг смущенно усмехнулся и ответил по-честному:

— А черт его знает. Наверное, на всякий случай.

Я ткнул пальцем в рябое от снежного лета небо:

— Надеешься, там плюсик поставят?

Он вместо ответа безнадежно втянул воздух носом. В носу мокро забулькало.

— Ну и что нам с панами делать?

— Пока ждать, я думаю. Ничего еще не определилось. Понятно, что сами по себе они способны исключительно на гадости, а на что-то доброе их могут подвигнуть только Чемберлен с Даладьё. С этими и надо работать. Хотя уже муторно.

— То есть Литвинову с его коллективной безопасностью по-прежнему карт-бланш.

— Угу. И любой ценой заткнуть прибалтийский коридор.

— Как легко вы, чистоплюи-моралисты, словами бросаетесь, — с невеселой иронией отметил он. — Любой ценой... А когда старый Коба сделает, тут-то вой и пойдут: дорого!

Стало неловко. Я сказал:

— Прости.

Мы пошли вокруг собора. Некоторое время молчали, дыша снежной пылью.

Он покосился на меня.

— Как твоя?

Почему-то я сразу понял, о чем он. Мы давно уже понимали друг друга с полуслова. Иногда мне приходило в голову, что именно это и может оказаться для меня самым опасным.

— Ничего пока, — сказал я. — Только спрашивает, спасем ли мы Польшу.

Он сокрушенно покачал головой. Смахнул каплю. Потом сказал:

— А вот если бы Тухачонок не облажался тогда на Днепре, была бы она у тебя сейчас не гордая полячка, а добродушная, хлебосольная украинка.

— Может быть. Хотя не все так просто.

Да, может быть.

Да, не все так просто.

Месяца не прошло после жуткой развязки нашей с панами войны, а в культурном народе уже шутили: «Редкая птица долетит теперь до середины Днепра, потому что там ее подстрелит дефензива». Впрочем, на том берегу Гоголь тоже был родной, и язык остался тем же, и наперехват стремглав, как встречный пал, тамошние интеллигенты пустили ту же фразу, лишь заменив дефензиву на гипеу.

Сколько их было, зеркальных шпилек...

Полякам подобный бадминтон пришлось не по нутру.

На одном языке переругивались, на одних и тех же впечатлениях и воспоминаниях строили друг другу предельно стервозные, но неизменно свойские язвы — это напоминало перебранку по нелепости повздоровивших не вполне трезвых родственников, а не столь чаемую Варшавой осмысленную, фундаментальную враждебность.

Когда люди, ядовито хихикая, ковыряют друг друга пальцем в бок, это не рвет, а, скорее, укрепляет, продлевает связи между ними. Ну не могут они друг без друга, хоть тресни.

Поэтому сначала в Кракове, культурной столице, потом в Варшаве, под плотным казенным приглядом, а там и в Киеве, главном городе новообретенного креса, стали возникать кружки движения «Лагидна полонизация» — специально для новых подданных Речи Посполитой. Это называлось направлением в искусстве, точнее постколониальным стилем (в том смысле, что поработанное москвитами население наконец-то обрело шанс, опоячавшись, стать свободным), хотя даже мне, отнюдь не спецу в изяществах, было очевидно, что к искусству ожесточенная глупая байда не имела и не могла иметь никакого отношения. Наоборот, она лишняя раз свидетельствовала: нацизм, какая бы нация за него от бессилия ни хваталась, ничего не способен создать сам, а может лишь воровать у истинных творцов и уродовать по своему обличью, превращая то ли в карикатуры на самое себя, то ли в чучела чужого величия, только подчеркивающие разницу между настоящим и злым. «Поляки мы. Не азиаты мы с раскосыми хохляцкими глазами...» Это для русскоговорящих. Для совсем уж упертых украинцев игрались и более сложные игры. «Як умру, то на могилі мене не ховайте. Тяло разом з версетами в дупу запахайте...» Чуть ли не три века миллионы местных были у панов холопами, и надо было срочно, в считанные годы, вернуть их в прежнее состояние.

В итоге новые подданные гордых поляков начали резать. Жечь. Сбивались в банды и топили целыми семьями местную высшую расу в колодцах, запекали в углях, как голубей... Облажайся Тухачевский не на Днепре, а, скажем, на Буге или уж вовсе на Висле — наверное, те же самые люди жгли бы не поляков, а нас. Рязанских и омских мальчишек в красноармейской форме, носатых харьковских комиссаров... Хотя мы, конечно, по отношению к тому же Шевченке никогда ничего подобного себе не позволяли и не позволяем, но было бы желание резать, а повод найдется. Надо же бороться за свободу, если больше ничего не умеешь. Одно слово — крес.

В ответ, вздымаясь свинцовой пургой и километровыми стенами колючей проволоки, естественно, пошли репрессии. Естественно, под них, за редчайшими исключениями, попадали не те. Тех-то еще найти надо, поймать, добыть, обезвредить, а нормальный работающий обыватель, ежащийся, вертящийся и изворачивающийся между молотом и наковальней, он — вот он, всегда под рукой.

И ныне население от Днепра до Карпат, за исключением разве что совсем уж отмороженных, тех, кто с истошными воплями «Слава України!» потрошив полякив целыми деревнями и ховався потом в лесах, смотрело с надеждой лишь на Восток и вполголоса, украдкой, как пароль или молитву, передавало друг другу: «Сталин прийде — порядок наведе...» И, разумеется, у панов сразу оказались во всем повинны большевики — мол, без подстрекательства и снабжения из-за советской границы тупые аборигены никак не додумались бы их резать, любили бы, надо полагать, и рончки лобызали...

А я советовал ждать.

Не переборщить бы с выжиданием...

Коба утешительно тронул меня за плечо кончиками пальцев.

— Ничего, — сказал он мягко. — Это все ничего. Перемелется — мука будет. Пока жива — все хорошо.

Это была истинная правда, на все времена. И уж он-то после самоубийства своей Нади знал это наверняка. Он имел право сравнивать «пока жива» и «после». В ответ я лишь благодарно приобнял его. И сразу убрал руку. С дружеской фамильярностью тоже лучше было не переборщить.

— Моя-то вот... — глухо сказал он. Потом мотнул головой; это была почти судорога. — А знаешь... Я вот думаю... Ведь могла бы и меня.

— Не могла, — сразу сказал я.

Густели сумерки. Снег вылетал из ниоткуда, клубился мимо и улетал в никуда. Вдали, по ту сторону величаво текущей в темном воздухе хлопчатой реки, дрожали в кремлевских корпусах освещенные окна.

Мы шли уже мимо Тайницкой башни, когда Коба все же спросил:

— Ты думаешь?

— Не могла, — твердо повторил я. — Коба, она ж по душе-то русская была до мозга костей. А мы, если что не так, всегда виним прежде всего себя. Вечно на себя грехи берем. Я не доделал, я не сумел, я не дообъяснил, я не удержал, я не предотвратил... Не могла.

Он долго безмолвствовал, хлюпая носом. Наверное, ему хотелось спросить: «Так что ж, она на себя мои грехи взяла?», но он не решался, потому что боялся услышать в ответ мое «Да» и понятия не имел, что тогда со мной делать.

— Почему-то самые хорошие люди всегда погибают первыми, — сказал он глухо.

— Они же потому и хорошие, что действуют бескорыстно, а значит — произвольно. И собой прикрывают других тоже произвольно. Вот первыми и погибают...

Он повел плечами, будто ежась. Впрочем, может, ему и впрямь было всего лишь холодно.

— Только бы не война, — глухо сказал он. — Выбьют как раз тех, кого мы успели вырастить за эту четверть века. Самых преданных, самых верящих... Они всех остальных и прикроют собой. Шушере всякую. Тех, кто придумывают Царь-ледоколы. На кого потом опереться, когда окажемся на пороге коммунизма? Глядишь, на пороге-то окажемся, а в дом не попадем.

— Коба, — тихо спросил я. — А ты еще веришь в него? В коммунизм?

Он даже остановился.

Повернулся ко мне. Внимательно, с прищуром уставился желтыми и блестящими, точно восковыми, глазами.

— А ты?

Я глубоко вздохнул.

— Даже не знаю, как сказать...

— Уж договаривай, — неприязненно потребовал он.

— Вот, скажем, человек ночью в пустыне. Он замерзает. Он не знает, куда идти. Верит ли он в то, что утром взойдет солнце, станет тепло и покажется дорога? Он просто ждет. Просто ждет, как спасения. Вот и я. Жду не дождусь.

Он отвернулся от меня и снова зашагал вдоль кремлевской стены.

— Ты его ждешь, — медленно и веско сказал он, не оборачиваясь, — а я его строю.

Не догоняя, я пристроился на шаг за ним. Некоторое время мы шли молча. Он горбился все сильнее. Наконец не выдержал и остановился; снова повернувшись ко мне, уставился исподлобья странным, беспомощным и одновременно угрожающим взглядом.

— Думаешь, он сам собой решит разом все наши проблемы? Твои? Мои? И не надейся.

Качусь

После обеда я присел поработать буквально на краешек стула, чтобы не увлечься и не потерять контроля за временем. И, разумеется, все равно засосало. Около пяти Маша, приоткрыв дверь кабинета, сказала:

— Тебя к телефону. По-моему, Сережина Надежда.

Мне показалось, «Сережина» прозвучало с намеком. Хотя, может, и впрямь лишь показалось; нечистая совесть горазда вздуть на ровном месте грозные, но пустые страшилки.

— Ох, мать честная, — пробормотал я, торопливо вставая.

Телефон у нас висел на стенке в прихожей, вроде как на перекрестке всех дорог, один на всех. Я, смиряя себя и стараясь двигаться степенно и солидно, вышел из кабинета, а Маша тем временем вернулась на кухню и даже дверь притворила за собой.

— Это Надя, — услышал я в трубке в ответ на свое «алё». Вот вроде и знал уже, кто звонит, а сердце все равно вскинулось. — Извините, что трезвоню, но я подумала, вы можете заработать и обо всем забыть. Вот и решила напомнить.

— Правильно решила, — ответил я. — Спасибо, Наденька. Сейчас выезжаю.

— А Мария Григорьевна не передумала?

— Да вроде нет. Сейчас еще разок спрошу для верности.

— Спросите, пожалуйста. До свидания. Я тоже уже через несколько минут выхожу.

— Не прощаюсь, — сказал я и повесил черную трубку на рычаг.

Маша, засунув руки в карманы халата, стояла у кухонного окна, уставленного между рам банками с заготовками и снедью, и вроде бы глядела на дома напротив; там, чуть ли в каждом окошке, обещая незатейливое счастье, переливались ячеистые радуги новогодних гирлянд.

— Ты не передумала?

— Нет, конечно, — ответила она, не оборачиваясь. — Не поеду и тебе не советую. Что за дурацкая идея — болтаться между молодыми. Они из вежливости нас позвали, а ты и купился. Думаешь, им интересны твои разглагольствования?

— А вдруг?

— Ну чему ты можешь нынешних научить? Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»?

— Смело, товарищи, в ногу, — напомнил я.

— Да у них и ноги-то уже совсем другие.

— Те же ноги, те же, — я добродушно засмеялся, а у самого от одного только слова «ноги» внутри опять будто жеребята забрыкались. — Разве что постройнее немножко. Да и это, в общем, ненадолго.

Маша наконец обернулась, и я сразу понял, что ляпнул лишку. Я-то, наоборот, хотел ее этак ненавязчиво утешить — мол, не переживай, любая молодость ненадолго, и наша, и не наша; но она поняла по-своему.

— Теперь ясно, на что тебя потянуло. И отчего ты так спешишь. Действительно, молодость проходит быстро.

— Ой, вот не надо, — проговорил я, и у меня словно теркой по коже провели от того, как ненатурально это прозвучало. Пошло, даже комично, словно в третьесортном водевиле царских времен.

— Ну, как знаешь, — она чуть пожала плечами. — Я предупредила.

До парка Горького дорога стала куда короче и легче после того, как на прошлый Первомай открыли для движения очередную нашу гордость и красоту — летящий Крымский мост, весь из себя социалистический, как серп и молот, поистине один из символов новой Москвы; до сих пор он был праздничным загляденьем для сотен тысяч москвичей и, как говорится, гостей столицы. Я решил пойти пешком: время позволяло, засидевшееся тело просило движения, а усталые от бумаг глаза — простора. К тому же, пока я топаю, Сережка должен был обязательно успеть добраться до места встречи. Не хватало еще мне прийти раньше него и оказаться хоть ненадолго с Надеждой наедине. Нехорошо это было бы. Почему-то нечестно.

Новогоднее шампанское веселье уже отстрелялось пробками и петардами, отшумело тостами и плясовым топотом, сотрясавшим абажуры и люстры у соседей внизу, отрыгалось похмельем у особо жаждущих, и теперь, в первое воскресенье января тридцать девятого года, толпы трезвого и потому неподдельно веселого люда высыпали на улицы.

Невесомо струились над улицами пухлые, крахмальные от инея провода. Праздничными колоколами звенели и гремели трамваи, жужжали троллейбусы, деловитые и кургузые, как шмели. Сквозь любой мороз грело душу немного комичное, но невыразимо теплое шествие воздушных шариков над головами. Дети, дети, дети. Хохочущие, хнычущие, кланчащие, визжащие от смертельной обиды (не купили шарик) или восторга (купили шарик); советский ребенок не избалован, ему немного надо для счастья. Впрочем, как и взрослому... Одни тузились, пока родители не глядят, другие, доверительно агукая, обсуждали что-то, только им ведомое, недоступное даже тем, кому перевалило за, скажем, семь. Мальчишки постарше в детских буденовках с красными звездами на весь лоб ухитрялись прямо тут же со стуком сражаться на деревянных саблях; как раз когда я проходил мимо, один с претензией на геройский голос тоненько крикнул: «За Каховку!», и я вздрогнул. Обнималась, смеялась, отплясывала посреди тротуаров молодежь. Катили коляски молодые супруги; им с произвольной уважительностью давали дорогу, чтобы истинным творцам будущего не приходилось лавировать в гуще. Старики с мечтательными лицами, глядя куда-то вдаль, наверное, в прошлое, вышагивали молча, с нежностью держа под руку своих старух: наговорились за десятилетия, но не налюбились.

А где-то в тысячах километров от этого немудреного веселья озабоченные и по самые уши ученые питомцы Оксфордов, Сорбонн и Гейдельбергов, пронашивая безупречно пошитые фрачные пары, неумоимо пересекались из «роллс-ройсов» в ампирные кресла и обратно и, объясняясь обиняками и намеками, ничего не называя прямо, прощупывали одних других, пытались сговориться, как бы им, рискуя поменьше, натравить на нас самого ополоумевшего из них. На Надежду и Машу. На Сережку. На меня. На Кобу, в конце концов.

Чтобы не было ни этих шариков, ни этих буденовок. Ни этого смеха, ни этих колясок. Чтобы хоть на сей раз наверняка сжить со свету этих непонятных непотопляемых стариков с их верными двужилыми старухами. Чтобы горел, как в Смутное время, Кремль. Чтобы дети, с визгом бегающие сейчас вокруг родителей в пятнашки и догонялки, лупцующие крашеными деревяшками кто Петлюру, кто Колчака, гордые кто новыми ботинками, кто новой шапочкой или хнычущие от трудно представимых взрослыми обид, снова, как уже было два десятка лет назад, превратились в чумазые жилистые тени в лохмотьях, кланчили хлеба у пролетающих мимо авто или сбивались в крысиные стаи, готовые с детской, значит, самой страшной, жестокостью резать хоть за пачку папирос, хоть за пластинку жвачки, хоть просто со скуки. Чтобы несчастные колхозники, и так-то, мягко говоря, небогатые, перешли на лебеду навсегда и перед тем, как вымереть и освободить для высшей расы жизненное пространство, лишились даже права говорить на родном языке, потому что даровая рабочая сила нужна не только страшным большевикам, но и высоконравственным повелителям денег, а они теперь все, как на грех, не говорят по-русски. Чтобы никто из уцелевших в бойне ни в праздник, ни в будни и носа не смел показать из дому без бумажки, называемой аусвайс.

Но даже не это главное; что нас, голодухой или паспортами испугаешь, что ли? Главное — что тем, кто выживет, надо будет усвоить крепко и навсегда: все мы, и с носами картошкой, и с носами с горбинкой, суть навоз их истории, мрачный и опасный уродливый курьез где-то сбоку, из века в век мешающий жить тем, кто

всегда прав, всегда красив, всегда всего достоин, нескончаемо и невозбранно справедлив и даже в любых зверствах своих все равно безоговорочно благороднее нас. И чтобы мешать им поменьше, мы, пока вовсе не передохнем, должны рассыпаться, сникнуть, перестать жить вместе и действовать заодно, забыть, что и мы — не толпа, не скопище, а народ. Со своими бедами, своими жертвами, своими ошибками и своими триумфами, круговерть которых за тысячу лет выковала и выточила нас такими, какие мы есть, и иными быть не можем.

А пока они там, за кордоном, играли в гольф, в крикет и в натравливание на СССР, посреди их хваленной избалованной Европы, поразительным образом ими не замечаемый, разрастался гигантский коричневый пузырь, то ли гнойник, то ли канцер, и его рукопожатый канцлер уже растапливал печи лагерных крематориев, запасал «циклон Б», шлифовал панцеркриг и, сладко вздрагивая, предвкушал глобальную расовую чистку.

И нам, не нюхавшим ни Оксфорда, ни Сорбонны, в подавляющей массе своей появившимся на свет в избах, где не было ни единой книжки, самим-то далеко не ангелам — а откуда тут взяться ангелам? — просто не оставалось иного выхода, кроме как перехитрить благоухающих парижскими парфюмами пауков, а выпестованного ими канцлера, лгуна из лгунов, подлеца из подлецов, обмануть, облапошить и, если придется, раздавить. Не потому, что мы такие уж хорошие или умные. Нет. Уж кто-кто, а я-то знал цену и себе, и Кобе, и Лаврентию, и всем.

А потому, что больше некому.

Народ ощутимо загомонил громче, а потом издалека слышалась, приближаясь, строевая. С Остоженки, азартно лупя сапогами в промороженный асфальт и нестройно, но от души горланя, вывернула не меньше чем рота курсантов и почесала по проспекту, охранительно предводительствуемая лейтенантом с флажком в руке; народ их приветствовал воздетыми кулаками типа «Рот фронт», криками «Ура!», а пацаны, кто оружно, кто безоружно, пристраивались, рьяно отмахивая локтями, маршировать следом. Выходной выходным, а солдатикам все одно служба. А может, в баню.

Песня была и знакомая, и нет.

Паны да фашисты, француз-дегенерат
Снова готовят нам олигархат.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней!

Сколько себя помню, в этой песне лишь последнее утверждение всегда остается неизменным. Персонажи первых строчек частенько менялись. И вот в очередной раз. Паны да фашисты — тут понятно, тут без разночтений. А француз-дегенерат... Вряд ли это обобщающий образ населения прекрасной Франции. Д'Артаньяна мы любим. Да был же, в конце концов, и Барту — правда, его-то как раз и убили, причем, как выяснилось позже, они же сами, под шумок, вроде бы стреляя в террориста. Скорее всего, имелся в виду их новопредставленный философ с жеваным лицом, вывернутыми мозгами и опять смешной фамилией, которую я, как и Блока, постоянно забывал: то ли Клоксман, то ли Глюксель... В последнем опусе, лебединой песне и, наверное, завете грядущим поколениям, он на пятистах страницах доказал, что тот, кто за свою жизнь не сменил раза три-четыре пол, не может считаться полноценным человеком и сколько-либо ответственно и разумно судить о чем-то важном; жесткая и безальтернативная привязанность к маскулинности или феминности свидетельствует об интеллектуальной немощи и моральной ущербности, а отсутствие опыта, получаемого противоположным полом, делает таких людей крайне недалекими.

Поскольку же в Советской России подобные операции вообще не практикуются и, видимо, негласно запрещены кровавой тиранией, тут, следовательно, коротает век сборище заведомых недочеловеков; всю жизнь протомившись в гендерной темнице, они ничего не понимают в жизни и свободе. Любое их мнение по любому поводу не только не представляет ценности, но вообще должно восприниматься как болезненный истероидный симптом.

Нобелевскую премию получил.

Какая уж тут коллективная безопасность...

Не получится у Литвинова ничего. Не получится.

И что нам тогда?

Один на один против всех?

Я мучительно думал об этом, шагая над темным ледяным провалом по вздрагивающему от трамваев телу моста, от одной далекой вереницы набережных огней до другой, столь же далекой, но вскоре забыл.

Ведь в снежном сиянии фонарей, в курящемся морозном мареве, сторонясь беззаботной сутолоки дышащих паром людей, прямо под восклицательным знаком на темнеющей выше света кумачовой полосе, где угадывалась надпись «Высшая цель партии — благо народа!», меня уже ждала, притопывая и озираясь по сторонам, Надежда.

Я глубоко вздохнул, точно перед атакой, и только потом до меня дошло, что Сережки не видно и, стало быть, мы, по крайней мере до его прихода, обречены быть вдвоем.

Она увидела меня, обрадованно замахала рукой и почти побежала мне навстречу. Я заулыбался, а в голове, выметая все умные мысли и возвышенные переживания, почему-то запульсировало простое, как мычание: кубарем качуся под гору в сугроб... под гору в сугроб... качуся...

— А где же парень-то наш? — спросил я, когда мы сошлись. Она стояла передо мной, как лист перед травой, в короткой шубке, рейтузах в обтяжку и шапочке с помпонам набекрень, с алыми от зимы щеками, и глядела виновато.

— Ну ужас какой-то! — сказала она. — Я боялась, что и вы не придете, тогда бы совсем тоска. Представляете, я уже на лестницу выходила, а он позвонил в последний момент и сказал, что не сможет. Там у них какая-то техника новая поступила, надо срочно принимать и разбираться... Что именно — он не сказал, конечно. Военный человек... Приказали — и все разом меняется. Кошмар!

Я представил, как Сережка приходит домой после аврала измотанный, дерганный, и тут выясняется, что папа, он же верный мамин муж, все еще веселится в парке отдыха и развлечений тет-а-тет с его девушкой.

Сильно.

Надо было развернуться и пойти обратно. Надо было.

— Только не вздумайте уйти! — торопливо упредила она и обеими руками ухватила меня за локоть. Ароматный пар ее дыхания окатил мне лицо.

И вкрадчиво, но ощутимо потянула меня в сторону ворот.

— Надя, я ведь на коньках не умею, — проговорил я, еще упираясь. — Я-то, старый дурень, думал, посижу на лавке, полюбуюсь на вас...

— Ну, полюбуется на меня одну, — не задумываясь, парировала она. — Я постараюсь недолго, полчаса... Ну ведь все равно пришли уже! И вы, и я!

Что правда, то правда.

Перед колоннадой ворот, на самом ходу, дородная от надетой под белый халат дохи улыбчивая женщина торговала с лотка мороженым — вся в светящемся студеном дыму, точно раздобревшая и подобревшая на русских хлебах Снежная Королева. Мороженое в мороз — это наш фирменный шик. И ведь ели вовсю. Очередь будто плыла в фосфоресцирующем тумане.

— Может, попробуете? Я буду вас держать! — храбро пообещала она.

Я засмеялся. Мне стало бесшабашно и легко. Все равно уже все случилось.

— Надя, ласточка, мне послезавтра опять за кордон ехать. Ты представляешь, что будет, если я себе что-нибудь сломаю? Или просто морду расквашу? Войду на конференцию, а глаз подбит, и лиловый нос набок. Что ж это будет за конференция?

— Ну и семейка у вас, — сказала она со вздохом. — Никто себе не принадлежит. Даже непонятно, как с вами дружить.

Я не сразу нашелся что ответить.

— Романтика, — сказал я потом.

— Знаете, я романтику как-то иначе себе представляла.

Я заинтересовался совершенно искренне.

— Как?

— Ну... Погода-природа, любовь-морковь... Звезды, соловьи... А иногда для остроты — мы сидим себе под цветущим кустом, и тут фашистский шпион ползет. Мы его в четыре руки вяжем и тащим в ближайший райотдел НКВД. Потом, натурально, опять под куст. Усталые, но довольные. Пока смерть не разлучит нас. А тут, получается, я — до гроба, а мужчина мой — до свистка.

— У нас советская романтика, Надя.

— А-а... — понимающе сказала она. Подумала и сказала: — Плохо мое дело.

На освещение парка отдыха партия электричества явно не жалела. Мы подошли, и открылся сверкающий, как операционная, простор катка.

Над светозарным ледяным лугом вились разноцветные зимние бабочки. Большие и маленькие. Одни — лихо, другие — неуклюже, третьи — просто так. Падали, охали, терли ушибы, хохотали, выписывали кренделя, хватались за руки, съезжались и разъезжались, роняли друг друга и помогали друг другу подняться... Жизнь в миниатюре. Замечательная, разная. Трудная. Твердая, бьющая больно. Невозвратимая.

Вокруг катка, на случай хоккейных дел, тянулись длинные скамьи без спинок. На них тоже было немало народа: родители гордо и встревоженно следили за осваивающими ледяную забаву чадами. Я пристроился среди них.

Башку Сереге оторву за такие фокусы. Ей позвонил, а домой...

А если бы позвонил? Что, я не пошел бы?

Да. Не пошел бы.

Сердце увидело ее раньше, чем глаза, и горячо толкнулось в горло. Она выскользнула на лед. Придерживаясь рукой за дощатое ограждение, щурясь, окинула взглядом ряды скамеек. Фонари били ей в глаза, и она не сразу разглядела меня в темной бездне за оградой. Потом, просияв, размашисто покатила в мою сторону.

Я забыл дышать.

Никакой купальник не сделал бы ее столь нагой. Купальник откровенен, и груб, и не богат ничем, кроме мяса, заслоняющего человека. А она парила, словно фея. Словно душа. Плоти не было — лишь непорочный соблазн, невесомая идея девичьего тела, сотканная из сверкающего света. Вся тут, лепестком на ладони — и недоступная, как звезда.

Она улыбалась. Она смотрела мне прямо в лицо, будто говорила: вот я, нате. Так смотрела, что едва не врезалась в катившую поперечным курсом пару — коренастый лохматый парень и рослая девушка скользили вместе, точно спаянные друг с другом; со скрежетом плеснув из-под коньков ледяной крошкой, Надежда увернулась и успокоительно помахала мне рукой, увидев, что я вскочил от ужаса. Потеряв скорость, она тогда уж и совсем замерла, поразмыслила мгновение, а потом мощно толкнулась, подняла ногу, так что юбчонка вообще потерялась, и, уцепив

рукой за кончик поднятого на уровень груди конька, долгой дугой покатила мимо меня, показывая себя во всей красе.

Она озорничала?

Она надо мной издевалась?

Или она меня соблазняла?

Или она хотела покорять всех и каждого? Подвернулся отец друга — давай отца друга?

Сейчас мне было все равно. Я так хотел ее, что это ощущалось, как боль.

Стройная, нежная, голая и молодая. Откуда вдруг мне в мозг влетела и лопнула эта ручная бомба, какая вражья пятерня ее кинула? Даже в глазах потемнело. Четыре раскаленных осколка-слова впились в сердце. Стройная, нежная, голая и молодая...

Неразрывность ее играющего тела и моего привороженного взгляда была столь заметна, что минут через десять ко мне поближе пересел замотанный в серый пуховый платок, в латаном пальтишке старик. Продолжая искоса поглядывать на лихо раскатывающую туда-сюда по льду мелюзгу, он проговорил:

— Ваша-то для вас как старается!

Я не подыскал слов для ответа. Он пожевал челюстями и проговорил:

— Видно, любит очень. Это нынче редко встретишь — чтобы к родителям такое отношение... Красивая девочка. Теперь бы мужа ей подыскать хорошего.

— Да нашли вроде, — отрывисто ответил я.

— Тогда счастья им... А я вот тоже внучку хочу в кружок записать, а не знаю как. Вроде все тренера умелые, а поди-ка скажи наперед, кто лучше выучит. Ваша-то у кого была?

— Честное слово, не знаю, — сказал я. — Это она все сама.

Он помолчал, а потом застенчиво спросил:

— А платили сколько?

— Правда, не знаю, — с сожалением ответил я.

Он посидел еще, а потом отодвинулся.

Наконец она натешилась и покатила вон с поля, а я, дождавшись, когда она скроется, вскочил и галопом поскакал в поисках сортира: не хватало еще, чтобы приспичило, когда будем, гуляя, идти по городу назад.

И успел к точке встречи первым.

Издаലെка снова улыбаясь мне, она торопливо подошла; уже одетая, упакованная в зимнее, и все равно: стройная, нежная, голая и молодая.

Я знаю, я видел.

— Ну как?

— Потрясающе.

— Вы не замерзли?

— Нет.

— Не заскучали?

— Нет.

— Как я вам?

Стройная, нежная, голая и молодая...

— Сердце в клочья, — сказал я.

Она легко и радостно засмеялась.

— Пошли?

— погоди, — сказал я. И тут до меня дошло, что, кажется, она вдруг сорвалась ко мне на «ты». Словно после близости. Не «пойдемте», а просто «пошли». Горло забухло горячим густым клеем. Я глотнул. — У нас тут еще одно дело.

Повернулся и пошел к лавкам. Она постояла, не сразу поняв, а потом вприпрыжку бросилась за мной.

Дед так и сидел, сгорбившись и нахохлившись, точно замерзающий воробей. Сквозь обмотанный вокруг головы платок он слышал наши шаги, лишь когда мы подошли вплотную; тогда он резко обернулся и уставился на нас снизу вверх недоумевающим взглядом.

— Надя, расскажи дедушке, где, у кого и почему тебя всей этой науке учили, — сказал я.

Она ничуть не удивилась. Через мгновение как ни в чем не бывало она уже что-то такое толковывала, сыпала какими-то фамилиями и названиями кружков... Дед слушал, ошалело кивал, даже торопился что-то записывать тупым огрызком карандаша на полях мятых «Известий». Когда Надя иссякла, он неловкими движениями застывших на морозе пальцев спрятал газету и карандаш обратно за пазуху, помотал головой, словно стараясь получше утрясти и уложить кучу полученных сведений, пошамкал и сказал:

— Ну, спасибо, дочка. Славная ты. Дай тебе бог здоровья...

Перевел на меня благодарный взгляд выцветших, утопающих в морщинах глаз. Потом опять глянул на нее и добавил:

— Папу береги. Он у тебя добрый. Таким трудно.

— Обещаю! — не моргнув глазом, ответила она. — Честное комсомольское!

Словно еще наэлектризованные каждый своим, она — движением, я — желанием, мы гуськом выбрались из узостей между лавками.

Некоторое время, опасливо не касаясь друг друга, шли молча.

Было неловко; непонятно, о чем говорить. После того как она чуть ли не полчаса самозабвенно и бесстыдно предлагала мне себя и на все лады отдавалась моему взгляду, а я, старый похотливый козел, брал, брал, невозможно было вести себя, как прежде. А как надо теперь, мы еще не знали.

— Сбережешь вас! — сказала она потом, и я поймал ее «вы». Она опять к нему вернулась? Или ее «пошли» вовсе не значило того, что мне померещилось? Или теперь она просто-напросто имела в виду нас с сыном? Я не знал. — Когда вас по месяцу не видно.

— Сережку береги, — заставил себя сказать я. — Он за кордон не катается. И тоже добрый.

Она посмотрела на меня, на сей раз — совсем серьезно. И ответила:

— Можете быть уверены.

И почти без паузы бабахнула:

— А вы Марию Григорьевну очень любите?

Когда жену вот так вдруг называют по имени-отчеству, даже не сразу сообразишь, о ком речь.

А когда сообразишь, попробуй ответить.

— Как себя, — сказал я.

Это была правда.

Любит ли человек свое сердце? Свои ноги? Он об этом никогда не думает, он просто без них жить не может. Иногда они подводят, иногда даже болят. Тогда ногу надо мазать мазью, например, со змеиным ядом, а для сердца — глотать какой-нибудь валидол или нитроглицерин. Но вряд ли сыщется болван, который своей волей предложит: что-то у меня нога разболелась, отрежьте. А оставшись с культяпкой, радостно завопит: свобода! И правильно, что не скажет и не завопит. Ведь все наоборот: фантомные боли так и будут мучить до конца дней, а вдобавок и скакать весь остаток жизни придется на костыле или протезе.

Она вдруг преданно и просто, совсем по-семейному, взяла меня под руку обеими руками.

— А как вы познакомились?

Ох, спросила бы что полегче. Рассказывать ей про по одному русскому в минуту? Сейчас?

— Романтики там было больше, чем надо, Надя. А цветущие кусты — горели. А звезд не было видно, потому что на все небо — дым. А соловьев распугали взрывы, и даже те, что не попадали с веток замертво, потеряли слух и голос. И даже морковь потоптала конница. Осталась одна любовь. Да и та вся в кровище, потому что война. И не за Родину, не с Главным Буржуином каким-нибудь, а нас с нами, за разные правды. Печенка с легкими подралась, мозг с сердцем.

— Ужас какой, — тихо сказала она после паузы.

А дома все было как всегда.

Или все делали вид, что все как всегда.

— Ну, ты загулял, — сказала Маша. — Одиннадцатый час уже. Голодный? Садись, я ужин дважды разогревала. И Сережка тоже в нетях. Звонил недавно, что будет только к утру. Какие-то там клапана у него барахлят...

— А все-таки напрасно ты не пошла. Народ на улицы высыпал, веселье такое...

— Зато я план-проспект на новый семестр закончила. На завтра никаких дел не осталось, можем в Сокольники поехать. Хочешь?

— Отличная мысль, — сказал я. — Конечно, хочу. С осени не были. Надо как следует надышаться перед душным поездом. Коленка как, не помешает?

— Вроде нет... Ты в Лондон сначала?

— Да. Думаю с Майским в деталях потолковать на месте. А потом... Потом по обстоятельствам. С немчурой интересные подвижки наметились...

Ни она, ни я даже не заикались о том, где я все это время был и с кем. Гулял. Народ гуляет, и я с народом.

Но когда я, приняв душ перед сном, выходил из ванной, то невзначай застал ее в прихожей за странным занятием: она нюхала воротник моего пальто. Увидев, как открывается дверь, она суетливо отшатнулась, точно я на мелком воровстве ее поймал, и не очень ловко сделала вид, будто всего лишь поправляет висящую на вешалке одежду, расправляет складки.

Только ночью, лежа без сна рядом с вроде бы спящей женой, я сообразил: она проверяла, не пахнет ли от меня чужими духами.

Стройная, нежная, голая и молодая...

Пропал.

Варево

— Так что чистый водевиль, — закончил я. — Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ваня любит Мэри, Мэри, как и подобает продвинутой европейской гёрл, льнет к Гретхен, а Гретхен строит глазки Ване. Мы рвемся к союзу с демократиями, демократии спят и видят, как бы заключить союз с Гитлером, а Гитлер, похоже, начинает обхаживать нас.

— И вдобавок Ваню в койку к Гретхен со спины пихает... э-э... Харуми, — добавил Коба. — Из Маньчжурии. Да-а... Свальный грех. Варенья хочешь?

Не дожидаясь ответа, он с трудом, слегка даже покряхтев, поднялся из-за стола. Шаркая, подошел к буфету, открыл скрипучую дверцу. Достал двухлитровую стеклянную банку с вареньем и две розетки. Пошаркал обратно к столу.

— Вкусное, кизиловое, — похвастался он. — К Октябрьской годовщине из Гори прислали. Попробуй. Очень полезно.

Да, подумал я. Дорого дали бы все газеты мира за фото русского диктатора за вечерним чаепитием.

Шлепанцы, пузырящиеся на коленях синие треники. Футболка с изображением разрывающего цепи мускулистого пролетария и надписью «Сим победиши». А поверх футболки накинута знаменитая френч. Когда Коба стал открывать банку, френч поехал набок; Коба раздраженно дернул плечом, накидывая френч обратно, и едва не выронил крышку. Потом искоса поглядел на меня.

— Мешает, — застенчиво пояснил он. — А без него мерзну.

— А котельную пошибче раскочегарить?

Он посмотрел на меня, как на идиота.

— Вся страна экономит, — сказал он. — А я тут жировать буду? Не буду и другим не советую.

— Некоторые жируют, — не удержался я.

Дрожащей ложечкой он заботливо положил мне варенья и двинул наполненную розетку ко мне. Пахнуло вкусным, терпким и живым. Только тогда он обронил:

— Все в свое время.

За окном, отодвигая ночь куда-то на край Москвы, мерцала алыми кирпичами одна из башен кремлевской стены. На шпиле, властно прорывая темноту, растопырясь едва не на пол-окна, горела тревожным и торжествующим светом рубиновая звезда. Она казалась массивной и веской и стояла, будто вкопанная в черное небо; но, подумал я, даже настоящие звезды, и впрямь, казалось бы, столетиями неподвижные, мчатся в пустоте с невообразимой скоростью, от чего-то удаляясь, к чему-то приближаясь...

— Ненавижу революции, — сказал Коба.

Я чуть со стула не свалился. Дожили, подумал я.

Почему-то вспомнилось, как нас в ночи вообще без единой звезды выгружали на туруханской пересылке. Перед пешим этапом надо было построиться, что-то не клеилось, нас пересчитывали по головам и раз, и два, и никак не сходились численность бумажная и численность живая; нас держали на режущем ветру полчаса, час... Напротив мерз и молча терпел, помаленьку зверея, взвод охраны, но они хоть были в шинелях, а мы — в трепещущих арестантских робах. И тогда мы обнялись. Сколько осталось сил, обхватили деревенеющими руками хлипкие плечи друг друга — Коба, Мироныч, Яша, Серго, Слава, Зиновьев с Каменевым, уже тогда, при всем внешнем несходстве, чем-то похожие на Траляля и Труляля из «Алисы», Бухарчик, Ягода, я, Федька Ильин-Раскольников, самый знаменитый невозвращенец прошлого, тридцать восьмого, года, и все прочие, несть им числа, Трилессеры и Шпигельгласы. И, давась плотным, как ледовитая вода, туруханским ветром, перхая, задыхаясь, затаили: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке...»

Оскальзываясь сапогами по натопанному снегу и путаясь в полах длинной шинели, одной рукой придерживая мотающуюся саблю, а другой — трясая жалким револьвером, вдоль строя бегал ротмистр и, срываясь на петуха, орал: «Прекратить!» Те из нас, кто шел не по первой ходке, рассказывали, что он служит тут, сколько они себя помнят, оттого и получил, верно, странное прозвище — Вечный Руслан. У мерзнувшего караульного взвода чесались винтовки, и парни только ждали приказа; хоть какое-то развлечение и хоть какой-то в их стоянии смысл... Но приказа Руслан так и не дал. Потом я понял: он ведь законность соблюдал, а не светлое будущее строил. Приди ему хоть на миг в голову, что мы — не преступные люди, а всего лишь помехи на пути прогресса, нас бы мигом положили там вместе со всеми нашими песенками.

Но тогда мы чувствовали себя несгибаемыми великанами, наперекор всей косной силе старого мира обнявшимися навсегда. И мечтали, мечтали, мечтали. Верили, верили, верили. Ведь было ясно, было очевидно любому мало-мальски образованному человеку, что стоит лишь пасть нелепому, отжившему, насквозь прогнившему, точно плесневелый гриб, режиму, всей этой жадной до власти своре трясущихся и мямлящих стариков в лентах и орденах, как жизнь сразу наладится: все обратные связи и социальные лифты заработают, материальные блага хлынут как из рога изобилия, потому что раскрепостятся производительные силы, и люди, унылые подневольные рабы самодержавия, при новом строе буквально бросятся работать. И рухнет вековая стенка между нами и Европой, мы сразу станем там своими, долгожданными. Ведь это они придумали социализм, а мы его сделаем... Ледяной наждак ветра продавил до кишок, губы трескались в кровь, на вдохах смерзались связки в глотках, но мы, ни в единую ноту не попадая, упрямо тянули: «Не дам и самой ломаной гитары...»

— С каких это пор ты их возненавидел? — негромко спросил я.

Он некоторое время помешивал ложечкой чай.

— Так, знаешь, мало-помалу. Вот и ты недавно говорил об умных и верных... Да и вообще. Ненавижу. Моя бы воля — не допустил бы ни единой. Время фанатиков и жуликов, подхалимов и авантюристов... — Кончиком ложечки он взял варенье, положил в рот, покатал там, разминая языком, и проглотил. На миг его рябое лицо стало блаженным, почти детским. — А если уж предыдущий режим довел народ до иступления и революция рванула, надо поскорей ее свернуть, заткнуть, превратить в праздники и годовщины, оставить от нее только имена героев и память славных побед... И снова строить нормальную жизнь для нормальных людей. Для честных работяг, а не речистых пройдох. Для умельцев, а не для убийц.

— Коба, дорогой, но ведь революции иногда и происходят из-за того, что окостеневшие режимы становятся раздольем именно для пройдох и болтунов, а честным работягам ходу нет.

Он шумно отхлебнул чаю.

— Вечно ты какую-нибудь гадость скажешь...

— Я просто размышляю. Кто-то из великих сформулировал: зло — это добро, перешедшее рамки применимости.

— Знать бы заранее, где эти рамки, — сварливо отозвался он, — не жизнь была бы, а хванчкара.

Порывшись во внутреннем кармане френча, он достал какую-то бумажку, сложенную вчетверо, и кинул мне через стол.

— Сегодняшняя, — скупое пояснил он. И, не утерпев, вернул: — Вас, дипломатов, таким не обременяют.

Я развернул, ничего хорошего не ожидая. И точно.

Это оказался бланк расшифровки строго секретной депеши с заголовком «Москва ЦК ВКП(б) тов. Сталину, тов. Берии», входящий номер 742. И ниже — будничным бюрократическим текстом, отпечатанным на выдавшей виды машинке со сбитой лентой и подскакивающими буквами: «Ввиду засоренности края правотроцкистскими и кулацко-белогвардейскими элементами просим ЦК разрешить дополнительные лимиты по первой категории на 1 тыс. человек, по второй категории на 5 тыс. человек. Секретарь крайкома Карнаухов».

Я аккуратно сложил бумажку и шелкнул ее по столу обратно Кобе.

— Тысячу на расстрел, пять — в трудовой спецконтингент, — сказал Коба, глядя на меня даже с некоторым любопытством.

Я молчал. Досчитал до десяти. Потом до двадцати. Попробовал варенья: вкусно. Прихлебнул чаю: уже не жгло.

— У Лаврентия на объектах вечно рабочих рук не хватает, — проворчал Коба. — Смертность в среднем по лагерям мы все-таки понизили, но объем работ-то растет... А ты мне про рамки.

— А по первой категории зачем столько? — все же не выдержал я. — Хороший способ строить нормальную жизнь для работающих ребят, а, Коба?

Он со свистом вдохнул и выдохнул воздух носом.

— Маркс чего-то недодумал, — признался он. — У Ильича на это, наверное, просто времени не хватило, помер, а может, и мозгов. Лейба, с...к, ему все извилины заплел своими трудармиями и вообще идеей, что взявшие власть большевики должны относиться к России как колонизаторы к покоренной стране дикарей. А это же вопрос вопросов. Ради чего человек работает? При капитализме — ради денег. Бедный — чтобы с голоду не сдохнуть, а кто посостоятельней — чтобы всех обскакать, стать вовсе богатым, сидеть на золотом толчке и об окружающих ноги вытирать. Стимул — самоутверждение, индивидуализм. Это отвратительно, но это понятно. А у нас? Понятия не имею. Нигде не написано. Мы как кур в ощип попали. И получается, что пока мы этого не поняли, остается только один стимул. Вернее, два. Они накрепко связаны один с другим. Воодушевление и страх. На одних лучше действует воодушевление, но это самые замечательные люди, а таких всегда меньшинство. Молодежь мы так воспитываем. И, может, ей страх уже будет не нужен. Потому я и долдоню вам каждый день: мир дайте, мир! Дайте время, чтобы они в возраст вошли, своих детей завели и воспитали уже сами, взяли дела в свои руки... Если их вот сейчас выкосят, останутся только те, кто, коли не дают надежды разбогатеть, работать может только со страху. А сколько можно такое длить? — он с отвращением отмахнул шифровку ладонью по столу, и та спорхнула на пол. — Вот о чем надо думать... Вот бы чем заняться: открыть, ради чего человек при социализме работает. Но ведь не дают спокойно разобратся, тормозят по пустякам. То война, то блокада, то санкции какие-нибудь...

Он поднялся. Наискось пошел по комнате и, на миг заслонив головой пристальный красный глаз звезды на башне, взял с подоконника трубку. Принялся раскуривать. Френч опять съехал, и Коба опять дернул плечом.

— Одно могу тебе обещать, — проговорил он почти мстительно. — При следующей ротации этот Карнаухов у меня загремит. Нельзя при власти оставлять людей, которые шлют вот такие шифровки. Они вообще людей сгноят, всех без разбору. Без категорий. Не напасешься на них.

— Коба, погоди. Ведь тем, кто будет вязать его и его аппарат, волей-неволей придется стать еще хуже!

Он вздрогнул и посмотрел на меня исподлобья так, что я понял: если я и не перешел черту, то уж всяко топчу ее.

Потому что поставил под сомнение его судорожную, последнюю надежду очередной ротацией наконец-то очистить мир и оставить в нем лишь тех, кто пригоден к коммунизму.

Он понял, что я это понял. Надо отдать ему должное: людей он понимал. Несколько мгновений, не мигая, он смотрел мне в глаза и явно пытался определить: испугался я или всего лишь огорчился от того, что допустил бестактность? Даже думать не хочу, чем кончилось бы дело, если бы он решил, что я испугался.

Дымя трубкой, он неторопливо вернулся к столу, уселся и вдруг предупредительного спросил:

— Дым не мешает?

— Когда мне твой дым мешал?

— Мало ли... Годы идут, бронхи портятся... — И тут же, словно не отвлекался на попытку разглядеть, не стал ли я врагом, вернулся к тому, что его так заботило: —

Понимаешь, я тревожусь очень. Если нынешних молодых положат, другого шанса уже не будет. Кризисы перепроизводства возможны не только в материальной сфере. Перепроизводство смыслов куда страшней. Капитализм захватывает область идеалов. Даже мечты становятся товаром. Я же вижу, скоро из всех дыр полезут говоруны, и каждый будет предлагать свой вариант светлого будущего. А волноваться будут лишь о том, как бы выкачать из простаков побольше денег для благоустройства собственного настоящего. На каждого рядового окажется по пять комбригов и пятнадцать политруков, и все пойдет вразнос.

Покачал головой. Пыхнул трубкой.

— Капитализм — мерзейшая вещь... Он делает ставку на эгоизм и корысть. На все самое подлое, даже извращенное, называет это правами человека и потому побеждает. А стоит лишь попробовать опереться на лучшее — на сострадание, честь, любовь, бескорыстие, преданность, получается гнет. Неужели человек и впрямь дрянь? Придумай мне, чем с капитализмом можно бороться, кроме расстрелов, — страстно попросил он вдруг. Его жуткие глаза сделались умоляющими, и это было, пожалуй, жутче жуткого. — Придумай, пожалуйста.

— Знаешь, — сказал я, — может, сама природа человека упрется. Ты вот боишься, что идеалы превратятся в товар. А я боюсь, и это не предел. Наука способна на штучки и пострашней. Она вообще самую жизнь делает товаром. Физиология была во все века главным коммунистом. Родился умным — так умен за просто так. Родился красивым — так красив даром. Король болеет, а у смерда щеки кровь с молоком. Скоро все может стать иначе. Известно ведь, что капитализм устойчив, только когда круг платных услуг постоянно расширяется. Чтобы покупали все больше, больше и больше. Но ведь жрать сытней, чем брюхо позволяет, человек не может. Количество одежек тоже особо не нарастишь. На одну задницу десятков унитазов — и все, опять предел. Ни в какой особняк сто сортиров не воткнешь. Или, скажем, купил пять машин, меняешь их каждый год... И тут рубеж есть. Когда все это увеличивать окажется уже нельзя, примутся за самого человека.

— Как так?

— Да ничего особо нового. Это ведь не вдруг началось. Раньше каждый человеческий организм был натуральное хозяйство, что-то вроде феодального замка на самообеспечении. Но потом — прогресс, товарное производство. На что знаний хватало, на то и замахивались. Скажем, за кордоном чуть ли не каждый год начинают продавать новые средства от похмелья. Якобы все круче и круче. Значит, вместо того, чтобы вечером выпить вдосталь, человек в инстинктивном расчете на утреннюю химию гарантированно насосется сверх меры, а утром, чтоб не мучиться, непременно тяпнет еще и похмелину какого-то. То есть дважды заплатит зря. Не перебрал бы вечером, не понадобилось бы зелье утром. Организму двойной вред, а экономике — двойная польза. Или медицину взять. Врачи ведь сейчас не болезни лечат, а симптомы. Нет, чтобы вдумчиво выяснить, где у данного пациента корень бед — его сразу пилюлей хрясь! Зачем им, чтобы человек стал здоровым? Он ведь тогда, может, несколько лет к врачу не придет. Что врач — сумасшедший? Поэтому мы сначала один симптом снимем, от такого лечения заболит что-то еще, мы и этот симптом снимем, а когда организм разрегулируется вконец, мы его тогда со всех концов лечить начнем, втридорога... Люди хиреют, фарминдустрия процветает. Но с основными функциями люди до сих пор справляются сами. Сами дышат, сами едят, сами спят, сами размножаются, сами умирают, в конце концов. Однако, как писали классики, прогресс остановить нельзя. Молекулярная биология, генетика... Ученые, святые люди, думают, они в гены влезут, чтобы победить самые страшные болезни. Может, и победят, но таких болезней одна на тысячу человек,

а подсадят на чудеса всех поголовно. Общественный строй все повернет по-своему. Чтобы нарастить мышцы — укольчик, но плати. Чтобы поумнеть — другой укольчик, но опять плати. Хочешь, чтобы тебя полюбили страстно и преданно — нет проблем, только плати. Хочешь быть молодым до ста лет? Пожалуйста, но столько плати, что мама не горюй. В итоге капитализм вырастит человека, который ничего не может сам и во всех своих проявлениях зависит от рынка. Помереть сам не может, экзотика нужна — плати. Зачать не может, потому что надо не абы кого, а с заранее подобранными гениальными генами — то есть опять за бешеные деньги. Родить не может, надо зародыш в искусственную среду пристроить — снова лезь в кошелек. Иммунитета своего нет, помирает от малейшего чиха, если таблеток вовремя не глотается — плати. С женщиной переспать сам не может, потому что какая же уважающая себя женщина согласится спать с задохликом, который, жмот этакий, в постель заманил, а на таблетку поскупился? Буржуазные дамы — существа без предрассудков, мигом сравнят тех, кто с таблеткой и кто без, и поплетутся как миленькие к тому, кто шибче и дольше. Им же там невдомек, что таблетки могут кончиться. А пресса еще и благом все это выставит. Как, мол, теперь у нас все прогрессивно и эффективно, не то что у варваров или нищих. Рожает сам? Неудачник! Дышишь сам, обед перевариваешь сам, помираешь сам? Жизнь не удалась. Купи-купи-купи! И в конце концов человек окажется абсолютно не жизнеспособен. А тогда любой сбой экономики — и нет человека. Без таблетки ни жену порадовать, ни на горшок сходить. Электричество на часок в аптеке погасло — и все, катастрофа, сверхчеловеки мрут.

— Тебе бы книжки страшные писать, — проговорил Коба, но чувствовалось, что его проняло. Все это время он слушал, не прерывая, и лишь время от времени тихонько сипела трубка.

— А потом еще вот что прикинь. Ведь ум, здоровье, любовь, дети — это не новая мебель и не престижное авто. Без новой мебели еще можно, а без основных функций — нет. Когда все, из чего сама жизнь состоит, выставят недостаточным, унижительным, требующим усиления... а потом, чего доброго, оно и впрямь срабатывать перестанет, потому что стимуляция подавит естество, тогда самое элементарное и важное станет исключительно покупным. Люди примутся рвать друг другу глотки из-за денег так, как никогда прежде. И мир вообще сделается непригоден для жизни. Такая перспектива может всерьез напугать и заставить образумиться. Заставит искать выход, а он неизбежно окажется не капиталистическим, не рыночным. А может, и до этого... Раньше или позже все, кому станет не хватать денег на то, чтобы просто жить, остеревет. И тогда, думаю, даже европейцы опять схватятся за давно позабытые красные флаги.

Коба слушал, и лицо его все больше мрачнело.

— Укольчики-то, наверное, в цену аэроплана окажутся, — сказал он.

— Ну уж не дешево, — согласился я. — Это ж целые новые технологии.

— Плохо, — сказал он. — Куда ни кинь, все клин. Если при капитализме богатые — с уколами и таблетками, а бедные — без, выродимся в два вида, элои и морлоки, в стиле мистера Уэльса. Да еще хуже. Элои без сети снабжения и услуг дня не протянут, а морлоки ничего не соображают, отстояли день у прилавка или станка, и по пиву... И тогда чуть что — конец человечеству. А при коммунизме как такое организовать, чтобы вся эта генетика всем поровну и бесплатно? Ну, как мы в школах прививки перwokлашкам делаем? Чтобы экономика могла такое вытянуть, чуть не всю страну в лагерь загнать придется. В Москве — коммунизм, а от МКАДа до Чукотки — один сплошной СоюзЛаб. Это уже не коммунизм получится, а говно.

— Есть у меня мыслишка... — ответил я. — Давно поделиться хочу... Надо все производство средств потребления снова в частные руки отдать. И уж подавно всякие там закусовые, кондитерские, парикмахерские и прочие фабрики игрушек и грампла-

стинок. И доход казне изымать от них только через налоги. Там будут работать те, кто хочет богатеть. А в ключевые отрасли пойдут те, кто работает на будущее от души. Погоди, дослушай. Мы с нашей дешевизной рабочей силы и умением из двух палок и тележного колеса «роллс-ройс» за ночь сварганить завалим ширпотребом и страну, и весь мир. Через несколько лет наш госсектор, наша оборонка, наши инфраструктурные проекты и наша фундаментальная наука будут буквально купаться в деньгах. Понимаю, есть опасность: когда перед глазами постоянно маячит частный предприниматель, управленцев будет будоражить страсть к наживе, она ж, сволочь, заразная. Стало быть, нужна очень жесткая идеология. В нэп у нас ее еще не было, по сути. Были партийные энтузиасты, но сложившейся идеологии не было, и кадрового аппарата, проверенного, набравшего опыт, работающего, дисциплинированного, тоже еще не было. Теперь все это уже есть. И предпринимателей в партию брать, но зато если, скажем, налог не платит или о рабочих не заботится, не по судам его годами таскать, а в двадцать четыре часа брать на воспитание по партийной линии. Аппарат уже есть, вера в коммунизм еще есть. Сейчас или никогда, Коба!

Я и подумать не мог, что в наспех наболтанном, поневоле детсадовском виде набросал тогда схему будущих реформ Дэн Сяопина — тех, что спустя полвека спасли Китай и за считанные десятилетия сделали его мировым лидером.

Но у Китая рядом был Советский Союз, потом его правопреемница Россия, а они, даже проеденные почти насквозь, одним фактом своего существования из последних сил ухитрялись делать большие войны немыслимыми. И, значит, дали китайским товарищам эти десятилетия.

У нас в тридцать девятом не было рядом никого. Разве что маршал Чойбалсан со своими табунами... Но по большому счету — никогошеньки.

Коба, как обычно, все понял по-своему. Когда я, иссякнув, наконец умолк, он несколько раз глубоко затянулся трубочным дымом, пыхнул раз, пыхнул два, а потом сказал:

— Надо же... Мне до сих пор и в голову не приходило. Генетика... Паскудная наука какая, оказывается. Надо будет с ней разобраться, когда руки дойдут.

Я залпом допил остывший чай и отодвинул стакан.

— Ладно, Коба, — сказал я. — Спасибо за угощение. Пора мне домой, там уж меня ждали. Я ведь с вокзала сразу к тебе...

— Послушай, у меня там баночка есть пустая, как раз на двести грамм. Хочешь, вареньем поделюсь? Вкусно же. Своих порадуешь.

— Спасибо, не стоит.

Он пыхнул трубкой и вдруг добродушно улыбнулся в желтые усы.

— Обиделся, — мягко сказал он. — Думаешь, старый Коба выжил из ума и не слышит дельных советов, — опять пыхнул и уставился мимо меня куда-то вдаль. — Эх, дружище! Если бы не война на носу!

Когда мы с Машей оказались наконец в спальне вдвоем, она одним движением скинула халат и осталась в короткой полупрозрачной рубашке; до сих пор я такие только в западных журналах видел, на модных картинках.

— Смотри, какую я, пока ты по Европам катался, ночнушку-соблазнюшку купила по случаю, — сказала она и покрутилась передо мной; разрезанный по бокам подол рубашки, как стрекозиные крылья, замерцал вокруг ее обнажившихся ног и живота и, померкнув, снова все накрыл, когда она замерла.

— Нравится?

Какая она стройная для своих лет, с удовольствием и гордостью подумал я и сказал:

— Какая ты у меня стройная.

— Да уж какая есть, — ответила она.

— Ну, иди ко мне.

— Соскучился?

— Да. А ты?

Она чуть помедлила, потом призналась:

— Очень.

И сделала шаг к постели. Остановилась и спросила:

— А ты меня еще любишь?

— Да, — сказал я и с облегчением почувствовал, что не соврал.

Она сделала еще шаг.

— А ее?

— Кого? — спросил я и сам едва не сморщился от лицемерной кислятины в своем голосе.

Маша помолчала, явно колеблясь, а потом все-таки не решилась.

— Мировую революцию, — сказала она.

Я с облегчением засмеялся.

— Обожаю! Только, знаешь... Без взаимности. Иди ко мне.

И она пошла. И мы были вместе, и я был этому рад; и она дышала так прерывисто, словно, как встарь, становилась счастливой. Но в какой-то миг мне подумалось, что она лишь по старой домашней привычке любит меня, и ничего в том уже нет, кроме уюта, который хочется во что бы то ни стало длить и никому не отдавать — ни надежды спастись, ни порыва спасти, всего лишь желание иметь; от этой мысли я едва не опал, не кончив, и пришлось грубо, бестолково заторопиться. И когда мы раскатились, меня душило разочарование; я и близко не успел натешиться своим ласковым владычеством, и не выбил из ее упругой податливости ни единого вскрика.

Некоторое время мы молчали, унимая дыхание, а потом она сказала сухо:

— Похоже, по мировой революции ты все-таки соскучился больше.

— О чем ты? — спросил я.

Мне казалось, я знаю о чем. Оказалось — не вполне. А может, она и сама не поняла еще, к кому ревнует больше.

— Я так ждала тебя, а ты — первым делом в Кремль... К этому...

— Маша...

Я попробовал ее обнять, но она предупредила грудным, напряженным голосом:

— Не трогай меня.

Невозможно было поверить, что всего лишь полгода назад в близости у нее делалось лицо двадцатилетней, а я любил ее так, как даже двадцатилетнюю не любил, потому что гордился собой и тем, что могу хотя бы на несколько минут вернуть ей молодость...

Я провалился в сон, как в прорубь.

А проснулся будто от тихого выстрела. Открыл глаза.

Была глубокая ночь. Была ватная тишина, которую нарушал один-единственный звук. Маша стояла у окна, закусив губу, и в щель между занавесками, таясь, будто с той стороны ее выцеливал врангелевский снайпер, выглядывала на улицу. Снаружи, далеко-далеко внизу, урчал, приближаясь, мотор неторопливой ночной машины, и по потолку, как стрелка на отсчитывающем жизнь циферблате, проворачивалась длинная узкая полоса света. Звук проехал под нами и стал, удаляясь, меркнуть. Полоса на потолке сжалась в спицу, остановилась и медленно погасла.

У Маши беззвучно шевельнулись пересохшие губы. Потом она прошептала:

— Не к нам.

В первый момент, спросонок, у меня волосы встали дыбом. Но для Кобы этим завершить разговор было бы мелко.

— Спи, — сказал я. — Если у нас с тобой и закончится, то не так.
— А как? — сверкнув на меня из темноты глазами, жадно спросила она.
— Пока не знаю, — сказал я. — Но не так. Спи.
Когда она легла, я снова попытался ее обнять, но она отодвинулась.

Попробуй отдохнуть

Жизнь всем недодает.

И не о том даже речь, что она сначала дает, не предлагая, а просто кидает тебе россыпью и то, и это: справляйся, мол, и если справишься — рули; а потом, именно когда ты плохо-бедно научился справляться и рулить, принимается все отбирать назад. Я о другом. Всяк смолоду уверен, что дослужится у жизни до генерала, а если чуточку повезет, то и до маршала. Но погибает в неравном бою с жизнью хорошо если старшим лейтенантом.

Жизнь — капкан. Его стальные челюсти лязгают, стоит тебе появиться на свет. Некоторое время ты вообще не можешь понять, что произошло, потом начинаешь приспособливаться. Но рычишь ли ты, вздыбив шерсть, на каждого, кто приближается, или с надеждой ждешь, не подойдет ли кто и не вызовет ли из зазубренных тисков, или яростно пытаешься отгрызть пойманную жизнью лапу и хоть так освободиться, или только и занят тем, что уныло слизывает кровь с развороченного мяса, тщетно пытаешься унять боль — длину цепи капкана ничем не изменишь, и кончается все одинаково.

Чего бы я только ни отдал, чтобы вновь почувствовать себя молодым. Чтобы впереди — будоражащая неизвестность, которая слаще любых побед. Зовущая бездна, где таится и ждет все. Где ничто еще не выбрано и поэтому ничто не потеряно. Ничто еще не выиграно и потому ничто не проиграно.

Казалось, совсем еще недавно — готовился к жизни, предвкушал ее, раскинутую ко всем горизонтам сразу, жаркую и необъятную, точно степной летний ветер. Потом наторилась главная колея, жизнь превратилась из почки в желтеющий лист; из точки, в которой, как утверждают физики, заключена бесконечность — в бильярдный шар, катящийся по прямой в свою неизбежную лузу. Но еще остаются иллюзии. Несбывшееся позовет, позовет за собою меня... Катишься, выбиваясь из сил, и ждешь — вот-вот что-то случится... не награда, конечно — наград вообще не бывает, но — ударит в бок какой-то иной неведомый шар, направление изменится, и все вдруг станет, как сначала. А потом понимаешь: ничего уже не случится и нечего ждать. Несбывшееся — это всего лишь внезапная боль в суставе, которой прежде не было, или грудная жаба, или апоплексия. Или арест — может, у себя, может, за кордоном. А то и пуля из-за угла. А то и война. В гробу я видел такое несбывшееся и его зов.

А ведь ничего еще толком и не было! Только-только чиркнул по краешку!

Стыдно быть влюбленным стариком. Смысл и суть любви — отслаивать от себя в будущее новое поколение, дарить бытие тем, кто тебя заменит; а тут всего лишь отчаянная жажда затосковавшей плоти прожуркнуть, как воришка, в поколение своих детей. Зацепиться за жизнь. Ухватить ее, улетающую с усталым карканьем, хоть за перышко хвоста. Мучительная и заведомо безнадежная попытка удержаться на скользком склоне, что день ото дня дыбится все круче.

Редкий выходной, когда я дома и свободен, и, будто назло, все разбрелись. У жены как раз на сегодня назначили какие-то курсы повышения; прежде чем учить других, научитесь-ка сами. Сережка с Надей уехали на оздоровительную базу авиаторов где-то под Рузой — поймать последние снежные деньки, побегать на лыжах...

Только тесть сидел у себя, как сыч, — то ли читал что-то, то ли неотрывно в телевизор пялился, потягивая крепкое. И я тоже сидел, как сыч. Пялился в окно и думал о том, о чем век бы не думать.

Я Надю больше не видел после катка. И не то чтобы мы сознательно избегали друг друга; при той жизни, какой в те годы приходилось жить, эти буржуйские сопли были избыточными, как шелковые бантики на солдатском сапоге.

Некогда, и все.

За окном догорал морозный мартовский вечер — прозрачный, звонкий и напoённый светом, как сосулька. Когда-то такие вечера сами по себе были словно обещание. Я сидел в кресле перед окном, на коленях у меня лежала корешком вверх раскрытая книга, и это длилось, верно, уже не меньше часа.

Там, где в розовой дымке тонуло слепящее пятно солнца, за лесами, за долами, Гитлер доедал Чехию. А цивилизованный мир стыдливо отводил глаза и на очередные ноты нашего Литвинова, справедливые, точные, возмущенные, почти пророческие, внимания обращал не более чем на жужжание надоевшей мухи. Тут люди едят, а она, понимаешь, опять за свое... Не твоя тарелка! Кыш!

И даже мне уже было плевать. Устал.

А может, и вовсе надорвался.

Они в Рузе... С компанией, конечно, но ведь всегда можно найти номер на двоих... Они там... Что?

Уже?

Еще?

В дверь моего кабинета стукнул кулак.

— Ау? — сказал я, поворачиваясь вместе с креслом.

Дверь приоткрылась, и, не пересекая порога, внутрь просунулся тесть.

Он обрюзг и исхудал, втянувшиеся щеки и костлявые скулы были покрыты пегой седой щетиной. Иногда меня ужас брал: и это наш комиссар, жестокий и прекрасный созидатель счастливого завтра? Где твоя кожанка, папа Гриша? Где твой пыльный шлем?

— Думаешь? — спросил он.

— Есть немного, — ответил я.

— Это правильно, — сказал он. — Есть о чем подумать.

— Заходи.

Он помялся.

— Давай лучше ко мне, — сказал он.

Я помедлил, потом поднялся. Я сразу понял, что это значит.

И не ошибся.

— Садись, — сказал тесть. — Выпьешь?

Я сел и сказал:

— Куда ж деваться.

— Не хочешь — не дам. Самому больше достанется.

— Пригублю, а там видно будет, — дипломатично ответил я.

Если бы вся дипломатия сводилась к таким проблемам!

Он вынул из серванта вторую рюмку, вернулся к столику и стремительно, почти не потеряв кавалерийской сноровки, расплескал водку на двоих.

Хряпнули, конечно, и крякнули хором. По пищеводу прокатило, в желудке зажгло. Закусили, аккуратно взяв с блюда по мышинной дольке сыра.

— Не так часто бывает, что мы с тобой вдвоем остаемся, — сказал тесть, прожевав. Кашлянул. — А поговорить пора.

— Что стряслось, папа Гриша?

Он помедлил, языком очищая зубы после закуси. Сначала верхние, потом, видно было по блуждающему вздутию на щеке — боковые.

— Я тебя понимаю, — сказал он. — Ты мужик, и я мужик. Молодой был — ни одной юбки не пропускал. На перине так на перине, в тачанке так в тачанке... И если б Марылька мне не дочь, слова бы тебе не сказал. Мужик на то и создан, чтобы девки не скучали. Дают — бери. Тем более годы твои такие, что... Седина в бороду — бес в ребро. Как не потешиться напоследок?

— Ты о чем, папа Гриша? — безмятежно спросил я.

— Если б я знал! — в сердцах сказал он.

— Так тогда какого...

— Мне одно ведомо. Тебя в семье почти что и не застанешь никогда. А Марылька, хоть баба и работающая, но все ж таки ночует в доме. И вот я вижу в последние месяцы, что она не в себе. То гимнастикой какой-то мается... Встанет ни свет ни заря — и ну задом крутить да ногами лежа дрыгать. Тебе-то невдомек, при тебе она ничего такого себе не позволяет, но когда ты в отъезде... Страшно смотреть, как женщина себя изводит. То не жрет ничего, то какие-то травки заваривает... И каждые два-три дня перед трельяжем крутится. И еще в ванной — нагишом, наверное. Я так понимаю, проверяет, не помолодела ли... А потом плачет в подушку.

У меня сжалось горло. Вот оно как...

Девочке-то моей тоже, выходит, несладко.

Тесть умолк, пытливо сверля меня взглядом. Будто хотел досверлить до мозга.

И взять пробы мыслей.

— Так разве ж это плохо? — спросил я.

— Было бы не плохо, если б она просто дурочку валяла с этими всеми упражнениями да отварами. У каждого — своя блажь перед старостью. Но коли плачет... Значит, она себя сравнивать с кем-то начала. Я так понимаю, ты где-то завел молоденькую. А Марылька ж гордая. В глаза тебе слова сказать не может, но пытается остаться... снова стать... И сама видит, что чудес не бывает.

— Выдумала она себе все, — сказал я, сам не понимая, сколько в моих словах правды, а сколько — кривды.

Факт, что я никого не завел. Ниже пояса не завел, да. Но...

Иной каждую неделю на сторону бегают, а думают об этом и мучается меньше, чем думаю и мучаюсь на ровном месте я. Может, для того и бегают? Чтобы не думать? Если и впрямь изменить — измена не так заметна? Вроде как в сортир сходил, облегчился — и опять гоп-ля-ля, свеж и бодр. Сыт и спокоен. А вот если постеснялся сбегать до ветру вовремя — нет потом муки горше...

— Ну, не знаю, — протянул тесть с сомнением. — Я же вижу, что у вас в последнее время нелады. И стонать вы у меня за стенкой уж которую неделю перестали... И вообще — смотрите дружка на дружку как чужие. Слова говорите те же, а головы мертвые.

— Сейчас я тебе одну вещь скажу, — хмелея, решил я. — Только ты еще налей сначала.

Он не заставил себя упрашивать.

Внутри опять полыхнуло, подбросили черти уголька под сковородку. Кровь побежала бодрей. Стало мерещиться, что жизнь прекрасна. Но я давно уже уяснил: можно вернуться на то самое место, где был когда-то счастлив, и даже сесть так же, как тогда, и выпить хоть литр. Ну, где тут мое несбывшееся, а? Но в прежнего себя и после литра не вернешься.

— Я ж сколько раз пытался по-хорошему, — признался я. — Понимаешь... Ну не отвечает! Чем я ласковей — тем ей смешней. Иронизирует только. Хоть бы сказала,

что ей против шерсти-то — тогда бы, может, слово за слово и размотали. Но не могу добиться. Это уж, знаешь, папа Гриша, не тебе, а мне впору думать про измены. Стенкой какой-то закрылась, и все.

Он помолчал, крутя рюмку в руках. Потом взял было двумя пальцами дольку сыра, подержал и опять отложил.

— Старееет девка и переживает, что старееет... Может, ей кажется, что ты к ней теперь только из жалости?

— Да ведь в человеке столько намешано, что и не разберешь. Может, и за жалость иногда сердце зацепит, как рыбу за губу, — а когда дернешь, сердце-то все целиком ловится. Мне ее и впрямь жалко бывает — хоть сам плачь. Так мне ее всю жизнь жалко было, еще с тех времен, когда она, девчонка, в шинели и сапогах степную грязь месила...

— Вот этого не надо, — отрезал он. — Жалость — плохое чувство, гадкое. Ваш же Достоевский, помнится, писал, что жалость унижает.

— Не читал, но если так, то это он, наверное, в казино продулся в пух и прах и весь свет возненавидел, вот и ляпнул. Есть простая русская песня, папа Гриша: жалю — значит люблю. В ней знания человека в сто раз больше, чем во всем Достоевском. Слушай, жалость и сострадание — синонимы? А жалость и сочувствие? А какая может быть любовь без со-страдания и со-чувствия? Только та, о какой ты сначала говорил: на перине так на перине, в тачанке так в тачанке...

Его взгляд мечтательно помутнел. Потом, встряхнувшись, он разлил еще по одной. Махнули и эту. Голова поплыла.

— Эх, да я понимаю тебя, — слегка осипнув, начал тесть по кругу. — Последние годочки идут... Даже завидую, честное слово. Будет-то еще хуже, будет совсем кирдык.

Он сказал это так, будто ждал и дожидаться не мог, когда моим способностям настанет кирдык.

— Нет, ты не увиливай, — во хмелю я тоже умел быть настырным. — Скажи сам — если бы тебя кто-то вот сейчас пусть хоть из жалости полюбил? Ты бы в ответ расстрелял, что ли, перед строем? За унижение?

— Расстрелял не расстрелял, но задницу веником надрал бы.

— Экий ты европеец, однако. Садомазо...

— Мы всегда были форпостом европейской цивилизации на востоке, — вдруг сообщил он. Тоже, видно, захмелел. Но я не дал себя сбить.

— Нет, ты скажи. Вот сейчас пришла бы к тебе молодая, красивая и прошептала застенчиво: я все понимаю и влюбиться в вас на всю жизнь, конечно, не могу, но вы замечательный человек, герой Гражданской, и лагеря избежали лишь каким-то чудом, и дочку хорошую воспитали, и вообще вы столько вынесли, столько пережили, столько дел переделали... И вот я пришла, и делайте со мной, что вам заблагорассудится, а я только счастлива буду, что бескорыстно подарила радость хорошему человеку на склоне его лет...

У комиссара отвисла блестящая от слюны губа.

А я осекся, потому что понял: я не про него говорю, а про себя. Не ему мечту подсовываю для примера, а про свою рассказываю.

А он точно так же малость раньше открылся — форпост он, и точка...

Все-таки о чем бы мы ни говорили: о философии, о психологии, о политике, о полетах в стратосферу, о повышении трудовых показателей — мы только о собственной душе говорим. Пытаемся про нее миру рассказать под любым предлогом, любым соусом и даже сами этого не сознаем. И никак иначе. Сквозь любую тему душа просвечивает. Из одной по пояс высовывается, точно через окошко вовсе сбежать решила, из другой — только глазком высверкивает, как мышка из норки... Но из любой.

Некоторое время мы сидели молча и думали каждый о своем. Потом он глубоко вздохнул, точно просыпаясь от сладких грез. Да так оно, похоже, и было.

— Не устоял бы, — честно сказал он. И печально усмехнулся: — Только мне б, наверное, даже тут ничего не обломилось. Поздно. Знаешь, как говорят: раньше ссал — боялся забор смыть, а нынче ссу — боюсь носки закапать... Так ты что — не устоял?

— Да ко мне и не приходил никто, папа Гриша... — ответил я.

— Сколько ж ты меня этим Гришей срамить будешь, — вдруг возмутился он. — Гжегош я, Гжегош! Вспомни наконец! До Лубянки еще мог кой-как на Гришу откликаться, но уж теперь — не-ет... Дудки! Ты мне скажи вот, скажи, казенный человек, до постов дослужившийся. За что мы кровь проливали? За новый мир или за то, чтобы вашу русскую империю подлатать?

— Опять ты за свое...

— А за чье же мне? За твое, что ли? О бабах уж поговорили.

Я понял: ненароком припомнив, что ему ничего не светит даже в той райской ситуации, которую я нам придумал, он вынь да положь должен был чем-то утвердиться.

Тем более что, верно, решил, будто я это не придумал, а случай из жизни рассказал. Да притом у меня еще не кирдык.

— Чтобы новый мир построить, одних митингов и расстрелов мало, — терпеливо сказал я, с лязгом передернув в душе стрелки разговора. — Вот в чем беда, папа Гжегош. Нужна индустрия. Нужна оборонка. Нужна наука и ресурсы к ней. Организация нужна, как часы. Урожай чтобы рос и поезда чтоб ходили. Стало быть, нужно государство, причем настолько сильное, чтобы старый мир в него и сунуться не смел. Но когда такое государство возникает, ему становится до лампочки новый мир. Его и старый вполне устраивает. И вот по этому лезвию надо ухитриться проскочить. Трудно. Страшно. То в одну сторону заносит, то в другую. То к мечте, которая бессильна, то к силе, которая ни на что доброе не годна. Но иного пути нет вообще.

— Как сложно у тебя все, — брезгливо сказал он.

Снаружи совсем уж стемнело, и в окнах напротив то тут, то там принялись зажигаться беззвучные, манящие чужим уютом огни. Но мы не включали свет. Бутылка и рюмки мерцали, и потерять их было нельзя. А то, что нам мерещилось, не мог бы высветить никакой абажур.

— А я теперь, знаешь, рад, что паны накостыляли вашему Тухачевскому, — сказал он перехваченным голосом. Откашлялся. — Раньше переживал, мучился... А теперь думаю — правильно. Все ж таки Польша уцелела.

Я глубоко вздохнул и досчитал до десяти. Потом напомнил:

— Панская.

— Панская, конечно, — согласился он. — Но, главное, все-таки польская.

— Кто скажет слово «русский» в положительном смысле, того шлепну, — напомнил я. — «Русский» — значит «царский»! А польский — значит панский? Не надо ли шлепнуть того, кто скажет слово «польский» в положительном смысле?

Мне казалось — аргумент неопровержимый. Но это только в моей системе координат. У него была иная. Он и ухом не повел.

— Даже сравнивать нельзя, — отрезал он.

Я уже не мог сдаться.

— Почему, собственно?

— Потому что национальная диктатура уж всяко лучше интернациональной тирании.

— Да чем же лучше?

— А тем, что у нее есть Родина, Ойчызна, а у интернациональной тирании — одни только красивые дурацкие сказки.

Я покачал головой.

— Чтобы ты оказался прав, осталось доказать две пустяковины.

— Ну?

— Первая — это что коммунизм всего лишь красивая сказка, вокруг которой сплотилось много очень глупых людей.

— А вторая?

— А вторая, что Ойчызна — это НЕ красивая сказка, вокруг которой сплотилось много очень глупых людей.

Он засопел, начиная, похоже, гневаться.

— Тебе не понять, — пробурчал он. — Поляки — народ, и им этого доказывать не надо. А русские — кто? Нет таких. Пустое слово. Чудь, жмудь, меря, мордва, якуты всякие, литовцы, татары, монголы... аланы... Все есть. А русских нет. Они фантазия, вроде коммунизма. Да, собственно, это оно и есть. Склеить какую-то русскость — это ваш давний коммунизм, который князья-кровососы придумали где-то после Куликова поля. И как со всяким коммунизмом — жидко обдристались.

— Пошел ты на х..., папа Гжегош, — ответил я и встал.

Он, недобро щурясь исподлобья, посмотрел на меня снизу вверх. Вот так он смотрел когда-то на стоявших перед ним с выбитыми зубами и связанными за спиной руками золотопогонников.

— Да стоит только на тебя глянуть, чтобы понять — это истинная правда, то, что я говорю. Русские — это подданные московского царя, и только. Москвиты. Вот ты нашел себе нового царя, лижешь ему задницу и уверен, что в мире снова правильный порядок. Виват, Россия! Слушай, зятек, а не тебе ли я обязан тремя неделями на нарах и нынешним бездельем?

— Пропись, комиссар, — сказал я, повернулся и, стараясь не пошатываться, пошел вон.

Маша воротилась из своего института лишь в десятом часу.

— Представляешь, — со смехом принялась рассказывать она, переодеваясь передо мной в домашнее безо всякого стеснения, но равнодушно, как перед мебелью. — Ивана Грозного теперь велено полагать прогрессивным! Как в народе говорят: куды мы котимся? Скоро, наверное, вообще большевики станут плохие, а цари — хорошие!

От нее веяло льдистой уличной свежестью. Она была оживленная, бодрая, раскрасневшаяся — то ли с мартовского вечернего морозца, то ли еще с чего. Как я ни силился, мне, честно говоря, даже вообразить не удавалось, какие такие курсы усовершенствования могут быть в выходной день чуть ли не до ночи. И впрямь впору было уже мне придумывать адюльтеры. Но не получалось. То есть придумать-то я мог, а вот отнестись как к реальности — нет. Все равно что придумывать себе хвост или жабры. Головой, нарочно — получается, на то и голова. Но примерить на жизнь — никак. Не налезало.

Я подошел к ней и положил руки на ее гладкие, сдобные, лишь тонкими бретельками комбинации перехлестнутые плечи.

— Маша, — сказал я как можно мягче и задушевней. — Мы не ссорились, поэтому даже помириться не можем. Но что-то у нас не так, тебе не кажется? Мы ведь даже целоваться перестали.

В ответ она лишь расхохоталась мне в лицо. Помахала ладонью у носа, картинно разгоняя дурной дух.

— О-о! — сказала она. — Я понимаю. Конечно, чем больше водки в крови, тем сильнее потребность в любви. Но только опомнись, муженек, открой глаза пошире. Это всего лишь я, твоя верная старая Машка, а вовсе не мировая революция! Не смей дышать на меня перегаром.

Совет мудрецов

В те дни Политбюро заседало чуть ли не дважды в неделю.

Треть века спустя Анчаров — помните такого? — в песне «Ты припомни, Россия» поэтически выразится: «Каждый год словно храм, уцелевший в огне». Но в тридцать девятом счет шел даже не на годы. Каждый новый месяц без войны был окрыляющим триумфом; снова листок с единичкой выпархивает из отрывного календаря, а пушки молчат. Счастье.

Нездорово пухлый, щекастый Литвинов закончил свой безрадостный отчет. Поди объясни народу, только что избавленному от карточной системы, что это народный комиссар от нездорового сердца такой; любой простой работяга непременно скажет в ответ: «У всех у них там сердце нездоровое. Не жрал бы в три горла — здоровей бы был». Сама по себе сытая внешность не криминал, конечно; мало ли среди нас тучных. Жданов, к примеру. Но тут уже всякое лыко могло оказаться в строку. И поэтому у Литвинова предательски подрагивал голос. Он чувствовал, что земля под ним горит и рушится. Тупость демократов сгубила его карьеру. Никаких явных признаков близкого падения не просматривалось; напротив, Коба вел себя с несчастным подчеркнуто уважительно, корректно до ужаса. Но именно — до ужаса: мы давно уже усвоили, чем пахнет подобная корректность. Особенно когда, словно отвлекшись на раскуривание трубки, называл наркома не обычным «Максим Максимович», как в газетах, а по-настоящему: Меер-Генох Моисеевич. Тут занервничаешь. Можно ни единым волоском не быть антисемитом, можно быть хоть обожателем евреев, но и тогда ясно как день: Меер-Геноху, если его даже Галифакс не считает за равного, с Риббентропом искать взаимопонимания вообще дико. Особенно после «хрустальной ночи».

Неспроста же все германские зондажи последних недель шли через Анастаса или Славу, минуя официальную верхушку Наркоминдела.

— Так, — сказал Коба, стоя вплотную к нам. — Благодарю Максима Максимовича за этот исчерпывающий, скрупулезный и в высшей степени информативный доклад, — он дружелюбно улыбнулся Литвинову. — Виден огромный опыт, видно искреннее старание. Спасибо, — он пыхнул трубкой. Помолчал, сделал поворот на месте и медленно, чуть вразвалку, двинулся от стола к окошку. — Какие будут мнения, товарищи?

Идет направо — песнь заводит...

— Клим? — не оборачиваясь, хлестко спросил он.

Клим шумно втянул воздух носом и выпрямил спину.

— Какие тут могут быть мнения, товарищ Сталин? — проговорил он. — Армия в полной боевой. Готова выполнить любой приказ.

— Например? — с хищной мягкостью уточнил Коба.

— Ну... — Клим растерялся на миг, но тут же ему показалось, что он понял, где ловушка, и сразу постарался вырваться от нее подальше. — Товарищ Сталин, подменять собой политическое руководство никогда не пытался и в мыслях такого не держу.

— Понятно, — сказал Коба после долгой паузы, за время которой он словно бы успел мысленно прошупать этот незамысловатый ответ со всех сторон. — Анастас?

Тот, словно то ли сдаваясь, то ли отгораживаясь, поднял на уровень груди обе настежь открытые ладони с растопыренными пальцами.

— Насколько я понимаю, к торговле данный вопрос не относится.

— Политика — та же торговля, — резко сказал Коба. — Ты мне, я тебе... И проценты.

Анастас опустил руки, вовремя сообразив, что избрал не вполне правильную тактику.

— Что касается торговли, могу сказать, что в последние недели с германской стороны идут такие авансы, будто они нам золотые горы предложить готовы. Но кто же верит нацистам?

— Вот так же, — задумчиво сказал Слава, — и Чемберлен, наверное, когда ему Галифакс рассказывает о наших предложениях, сидит и думает: ну кто же верит большевикам?

— А Чемберлену-то кто поверит? — резонно ответил, останавливаясь у окна, вопросом на вопрос Коба.

И то правда. После всего, что британцы наворотили за последний год... Предали и продали всех, кто им доверялся. Но все равно — белые и пушистые, символ демократии, средоточие миролюбия и прогресса. Опостытели, честно говоря. Хоть стелись перед ними, хоть пляши краковяк — только задницу почешут и опять расползутся по своим Гемпширам, Стаффордширам и прочим ширам. Хоббиты хреновы.

И при этом разумной альтернативы все едино — нет. Вот же ситуация патовая: и вброд нельзя, и вплавь невозможно.

— Вячеслав Михайлович? — подчеркнуто с отчеством обратился к Славе Коба.

— Ну не хотят они нас, — ответил тот угрюмо. — Насильно мил не будешь. Даже девку, которая не хочет, и то уломать можно. А вот премьера или президента великой державы — нипочем.

— А мы им не себя предлагаем, — возразил Коба, пыхнул трубкой и, повернувшись на каблуках, опять пошел к нам. Налево — сказку говорит.... — Мы им их же собственную безопасность предлагаем.

— Видать, у них о собственной безопасности иные представления, — пробормотал Слава.

— Мне ли не знать, — уронил Коба. — Но предлагать надо уметь, — и он перевел взгляд на Анастаса. Тот сразу подобрался. — Потому я и говорю: торговля. Когда-нибудь мы научимся рекламировать свои товары? Хотя бы политические?

Слава упрямо набычился.

— Мне вот Шуленбург уже который раз рекламирует их товары, — сказал он. — Прямо вот так они теперь и формулируют: в лавке рейха для советских потребителей найдутся любые товары: от войны до сотрудничества. А у меня от подобных речей уши вянут.

Коба пыхнул трубкой.

— Мы — большевики, — сказал он веско, — и нам эта терминология, разумеется, чужда и отвратительна. Но при переговорах с капиталистическими партнерами мы обязаны для пользы дела говорить с ними на доступном им языке.

Бедный Литвинов так и стоял молча, между столом и дверью, и хоть и не тянулся по стойке «смирно» — это было бы уж слишком, однако не решался даже вытереть пот с искрящегося, нездорово желтого лба. И слушал беседу так, словно все это его уже не трогало и он не имел к процессу выработки решений ни малейшего касательства.

Коба вопросительно посмотрел на меня.

— Уважаемый Максим Максимович убедительно показал, что шансы на достижение взаимопонимания с великими державами по-прежнему ничтожны, — сказал я. — Но разумной альтернативы попыткам найти такое взаимопонимание я не вижу. В конце концов, Гитлер уже прет напролом. У него, похоже, все тормоза сорвало от безнаказанности. И это работает нам на руку. Это все-таки может постепенно заставить демократии отказаться от пассивности.

— Надежды юношей питают... — саркастически сказал Коба. Сделал поворот на месте, пошел обратно. Помолчал. Тревожно поскрипывал пол.

— Никитушка?

Хрущев вошел в состав Полибюро буквально на днях, в конце марта. Когда Коба неожиданно назвал его по имени, да еще так ласково, он буквально подскочил.

— За Украину я ручаюсь, товарищ Сталин, — не задумываясь, как автоответчик, отпартовал он.

При чем тут была Украина и в каком, собственно, смысле он за нее ручался — никто не понял, но в Кремль Никита пересел именно из Харькова, с поста первого секретаря компартии братской республики, и, в общем, ясно было, что ни о чем, помимо своей былой епархии, он толково сказать пока не мог.

— Ну и на том спасибо, — мягко одобрил Коба и пыхнул трубкой. И только тут словно бы вспомнил про Литвинова и как бы спохватился. — Да вы присядьте пока, Максим Максимович. Что ж вы все стоите да стоите? В ногах правды нет.

Литвинов слабо улыбнулся, сиюсь выказать благодарность, добрел нетвердо до ближайшего свободного стула и почти рухнул на него. Дрожащей рукой вытянул, путаясь в пиджаке, из кармана брюк носовой платок размером с детскую простынку и принялся, шумно отдуваясь, вытирать лицо и шею.

— Итак, что мы имеем? — поучительно спросил Коба, сделал очередной поворот на месте и пошел к окну. — Мы имеем очевидное намерение нацистской Германии без войны превратить СССР в свой сырьевой придаток, добиться с опорой на наши ресурсы подавляющего военного превосходства и получить, таким образом, на континенте полную свободу рук. Вероятно, попутно ставится цель изобразить нас своим союзником и углубить наш раскол с демократиями. Мы имеем не менее очевидное стремление демократий, сделав Гитлера своим сторожевым псом в Европе, натравить его на СССР. Вероятно, ценой очередного сговора наподобие Мюнхенского, теперь за счет Польши. Как докладывает разведка, нападение Германии на Польшу — дело почти решенное. После победы Гитлер выходит на границу СССР практически на всем ее стратегическом протяжении. С учетом уже очевидной ориентации на рейх малых прибалтийских стран возможный фронт грозит протянуться от Нарвы до Днепра. Активность Гитлера в Финляндии и готовность финнов к еще более тесному сотрудничеству с ним показывают, что на стороне рейха могут выступить и финны, значит, мы получим дополнительный фронт от Сестрорецка до Мурманска. Город на Неве, колыбель трех революций и, что немаловажно, важнейший промышленный и научный центр страны, всеми нами любимый Ленинград, находится от эстонской границы на расстоянии менее полутора сотен километров, а от финской — менее тридцати. Если Гитлер начнет давно им анонсированную войну за жизненное пространство на Востоке и при этом не будет находиться в конфликте с демократиями, он, как минимум, получит надежный тыл на Западе, а как максимум — военное сотрудничество с ним. Тогда демократии, если Гитлер продвинется достаточно далеко, под любым предлогом вцепятся в нас тоже, чтобы и Гитлеру много не отдать, и свой кусок урвать. Например, со стороны Кавказа, опираясь на свои подмандатные территории на Ближнем Востоке. Значит, в компании еще и с Турцией. Их ближайшей целью будет отрезать нас от бакинской нефти, а затем развить наступление в Поволжье, отсекая Центральную Россию от Урала и Сибири. То есть мы вполне можем столкнуться с объединенным вторжением всех великих европейских держав, при том имея на востоке, на маньчжурской границе, вторжение японское.

Он умолк. Сделал поворот на месте и пошел от окна к столу. Тишину нарушали лишь помаленьку успокаивающееся хриплое дыхание Литвинова в одном углу да тиканье больших напольных часов в другом. Да еще время от времени тоненько, словно в живое тыкали скальпелем, ойкал паркет.

Подойдя к торцу стола вплотную, Коба остановился. Оглядел нас добрым взглядом и мягко спросил:

— Ну что? Просрали страну, товарищи?
Ясное дело, никто и не подумал отвечать.

Да он, ясное дело, и не ждал ответа.

— Максим Максимович, — сказал Коба.

Литвинов, заглотив побольше воздуха так, что его вдох прозвучал, будто всхлип, вскочил.

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Да вы сидите, сидите. Отдыхайте. Вам беречь надо нервы, они вам еще понадобятся.

Это прозвучало так, что человек с нервами послабее мог бы, пожалуй, и напустить в штаны. Мы обмерли. Но Коба сделал едва заметную паузу и уточнил с улыбкой:

— Для изнурительных бесед с нашими демократическими партнерами. Товарищи понимают: подобные собеседники не сахар и не мед.

Мы все перевели дух. Литвинов постоял мгновение, размышляя, насколько серьезно это разрешение, а потом все же уселся. Возможно, ноги не держали.

Коба, постояв возле стола, повернулся к нам спиной и снова закружил по своей золотой цепи.

— До Первомая еще почти две недели, — сказал он. — Вот эти две недели, Максим Максимович, Политбюро дает вам для последней попытки добиться от Чемберлена и Даладье хоть какой-то ясности. Возможно, Гитлер своей нарастающей наглостью и впрямь хоть немного вгонит им ума. Если эта попытка окажется, как и все предыдущие, безрезультатной, нам придется очень серьезно пересмотреть всю нашу внешнюю политику и проанализировать возникшие угрозы заново, с чистого листа. Политбюро не исключает, что мы вынуждены будем согласиться на кредит, который немцы так стараются нам предоставить, и послушать наконец, чего они хотят взамен. Ввиду угрозы войны одновременно чуть ли не со всеми промышленно развитыми странами нам надо мобилизовать ресурсы. Пригодятся и те несчастные миллионы марок, которые Шуленбург столь настойчиво предлагает нашему уважаемому Анастасу Ивановичу.

Поражало то, что, перечислив подробности надвигающегося кошмара, он, не проявляя ни малейших сомнений и колебаний, говорил о нашей борьбе с целым миром как о деле заранее решенном и вполне выполнимом. Как о единственно возможном варианте действий. Он готов был воевать за Союз и против всей Европы, и против всей Азии разом. Хотя, разумеется, совсем этого не хотел. Да и кто захочет?

Странно, но после его слов мы несколько успокоились и даже почувствовали себя увереннее. Казалось бы, быть надо от ужаса и бессилия — ну не получается ничего, ну никак, хоть башку расшиби. Но его твердость поразительным образом заражала всех, объясняя ее как хочешь — тупостью, бессердечием, отсутствием воображения, маниакальным состоянием (умники готовы любой героизм объяснять психическими отклонениями, а нормальные — только они сами). Конечно, заражала в разной степени. Люди вообще разные. Но плечи расправлялись, факт.

На этом повестка дня оказалась практически исчерпана, решение — принято, и хотя оно было, пожалуй, единственно верным, все понимали, что на самом деле это не решение, а лишь попытка его оттянуть. В то, что за пару недель Литвинову удастся сдвинуть дело с мертвой точки, уже не верил никто. И теперь эта директива была ему дана только, что называется, для очистки совести.

Но ведь может же случиться чудо...

Скажем, Гитлер и впрямь отчебучит что-то такое, чем даже миротворца Чемберлена проймет.

А может, теперешней аннексии Чехии и ее превращения в немецкий протекторат демократам и хватит, чтобы очнуться. Просто до них доходит как до жирафов.

Хоть молись за это. Честное слово, хоть молись.

— Все свободны, товарищи.

Расходились молча. И в коридоре, длинном, устланном тягучим красным ковром, тоже по большей части угрюмо молчали. Послеполуденное апрельское солнце сквозь широкие окна выжаривало коридор, и по ту сторону стекол юная, как Надежда, листва готовилась, ликуя, задымить светло-зеленым дымом. А мы шли по ковровой чересполосице пылающих алым огнем пятен света и багровых теней и думали о насущном.

Мы хоть попытались

Вот и этот Первомай укатился в прошлое. Москва, отпыхав бродячими кострами развевающихся кумачей, отшагав по Красной площади в обличье изобильных урожаев, непобедимых танков и ударников с физкультурницами, в очередной раз сказала свое веское «ура» и вновь прикипела к рабочим местам. Погода в ту весну радовала так, будто обещала и впрямь мир, труд и май, вечный май. Но от души порадоваться безмятежному теплу и весеннему сиянию могли, пожалуй, лишь старики да школьники после уроков. Бодряя музыка уличных репродукторов, создававших по центральным районам города сплошную сеть покрытия, все эти «Кудрявая, что ж ты не рада» и «Нам нет преград», целыми днями звучала по большей части именно для них, для старых и малых. Но уж когда истекал рабочий день и усталый народ опрометью бросался в театры, библиотеки, продуктовые магазины и убогие жилища — тут ему никуда было не деться от того, что много позже начнут высокомерно называть сталинской пропагандой.

Пройдут десятилетия, сплывут и забудутся «Ландыши», «Хороши вечера на Оби», «А у нас во дворе», «Бирюсинка», «Мой адрес — Советский Союз», «Арлекино», «Зайка моя», «Я убью тебя, лодочник» и множество иных пролетающих мошками хитов; но даже в двадцать первом веке, который тогда, в конце тридцатых, виделся нам одухотворенным и трудолюбивым царством давно победившего коммунизма и давно обнявшей всех доброты — даже и тогда, если вдруг возникала необходимость навалиться всем миром на какое-то трудное дело или отпраздновать какую-то общую победу, из тьмы времен будто сами собой выныривали те самые мелодии, что нескончаемо омывали Москву в ту давнюю стародавнюю пору. И я прекрасно понимал почему. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Они создавались в полушаге от громахания залитых кровью жерновов, но с ощущением, какое только и способно делать что человека, что страну молодыми, — ощущением манящего простора впереди. Никогда такого уже не повторялось. И, наверное, не повторится.

Через несколько дней после майских праздников фон Шуленбург попросил меня о приватной встрече.

Мы договорились с послом Германского рейха встретиться по возможности за просто, чтоб заранее никому со стороны и в голову не могло прийти, куда нас занесет. Во-первых, потому, что в случайно выбранной забегаловке уж точно не случилось бы никаких подслушивающих устройств. Все столичные шалманы на прослушку не поставишь. Во-вторых, топтунам, буде таковые увяжутся либо за мной, либо за ним, либо за нами обоими, вне зависимости от того, у какой именно из двух высоких договаривающихся сторон они будут на службе, сложнее окажется остаться

незамеченными. Намереваясь висеть на хвосте у двух элегантных джентльменов, собравшихся на совместный ланч, они загодя должны будут мимикрировать с учетом того, что им придется перекусить по соседству. И стоит нам забрести в простонародную щель, они, если рискнут увязаться за нами, сразу станут заметны.

Хотя, надо признать, сами мы с Шуленбургом выглядели в блинной «Маросейка» как папуасы на льдине.

Присесть было негде. Только высокие столики с круглыми, в пятнах чего-то засохшего, мраморными столешницами и облепленные черными зернами мух извилистые липкие ленты, свисавшие с потолка. Видимо, с целью возбуждения аппетита.

Для блезиру мы взяли бочкового кофе с плавающими в нем темными пленками и по коржику. На нас оглядывались поверх пенных пивных кружек. Иногда добродушно и понимающе ухмылялись: во, мол, как у интеллигентов трубы с утра горят, аж до ресторана не добежать. Немногочисленные в этот час, сплошь пожилые затрапезные посетители с любопытством косили: будем мы что-то доливать в стаканы или обойдемся как-то иначе? Мы обошлись иначе. Прямой, как палка, надраенный, как представительский лимузин, благоухающий фон Шуленбург подsunул край коржика под усы и осторожно, кончиками зубов, попробовал надкусить один раз, потом другой; на его длинном костистом лице отразилось опасливое недоумение типа «эту страну не победить». Он отложил коржик и стал, чуть нагнувшись, присматриваться к содержимому стакана. Тот уже минут пять как стоял на тяжелом мраморе неподвижно, но темные колышущиеся пленки продолжали жить в нем своей жизнью, то подплывая к граненым стенкам, то пропадая в мутно-бежевой глубине, и вроде даже слегка помахивали плавниками-крыльями, точно древние скаты в глубинах насыщенного первоэлементами мезозойского моря.

Я хрустел коржилом, прихлебывал кофеик и выжидательно посматривал на Шуленбурга поверх своего стакана; в конце концов, он просил о встрече, а не я. Ну, и давал ему возможность маленько освоиться. В общем, не форсировал.

Посол наконец решился.

— То, что я хочу сказать, является абсолютно неофициальной, исключительно моей точкой зрения на происходящие события, — сказал он церемонно. — И я решил переговорить именно с вами, учитывая, во-первых, наши давние доверительные отношения, во-вторых, то, что формально вы не являетесь дипломатом высшего уровня и, следовательно, меньше связаны в суждениях и высказываниях, и, в-третьих, то, что, насколько нам теперь известно, ваше реальное влияние порой оказывается несопоставимо выше того, что предполагал бы ваш официальный пост.

— Спасибо за лестные слова, — я поблагодарил его коротким наклоном головы. — Вы знаете, граф, с каким уважением я к вам отношусь. И я заверяю вас, что все, сказанное вами, если оно предназначено только для меня, дальше меня не уйдет, а если оно предназначено для неофициальной передачи на самый верх, я сделаю все возможное, чтобы такая передача состоялась как можно скорее.

— Я знал, что вы меня правильно поймете, — ответил Шуленбург. — Сразу скажу, что я рассчитываю, скорее, на последнее. Впрочем, в конечном счете выбирать между первым и вторым я предоставляю вам. В сущности, — с обезоруживающей откровенностью и даже как-то застенчиво сообщил он, — я сейчас собираюсь совершить государственную измену.

— Граф, — поспешно сказал я, — не надо громких слов. Если у вас есть хотя бы малейшие колебания по поводу целесообразности продолжения нашей беседы...

— Нет, — отрезал он. — Нет у меня таких колебаний. Видите ли... — Он глубоко вздохнул. — В течение нескольких последних месяцев я и горстка моих единомышленников здесь, в посольстве, и в центральном аппарате нашего МИДа приклады-

вали титанические и, смею сказать, довольно рискованные усилия, целью которых являлось улучшение отношений между Германским рейхом и Советским Союзом. Мы абсолютно убеждены в правильности такой политики потому, что, во-первых, нам нужны ваши сырьевые ресурсы, а вам — наши технологии. Нам есть что дать вам, а вам есть что дать нам. Мы реально можем сделать друг друга сильнее. Но во-вторых, и это важнее всего, именно так мы можем обеспечить мир. На авантюры чаще всего идут от отчаяния, от безвыходности. Создав долгосрочный блок, достаточно самостоятельный и независимый от остального мира и в ресурсном, и в технологическом отношении, мы могли бы сделать войну совершенно необязательной.

У меня просто-таки в зобу дыхание сперло. Я отставил полупустой стакан и слушал, боясь пропустить хоть слово.

Посол помолчал, дав мне несколько мгновений, чтобы усвоить и осмыслить услышанное. Зачем-то подул на лежащий на его блюде нетронутый коржик — с того волной слетели крошки и маленькой поземкой пронесли по мрамору столика; потом продолжил.

— Нынешний расклад сил на мировой арене делает создание такого блока еще более актуальным. Я был бы даже рад, если бы вам удалось заключить некий пакт с англичанами и французами на случай войны с нами. А с нами — некий пакт на случай мира, следовательно, куда более важный. В отличие от пакта на случай войны, мирный пакт начал бы работать сразу после подписания. В то же время антигерманский пакт между вами и демократиями мог бы предостеречь наше... — Он запнулся, подбирая слово. — Наше не всегда уравновешенное руководство от опрометчивых действий. Мир сразу сделался бы более выгодным, а война — более рискованной. Вы понимаете эту комбинацию?

— Еще бы, — сказал я, стараясь пока лишь слушать и ни в коем случае не вдумываться, насколько все это реально, насколько соответствует действительности. Начнешь анализировать — не ровен час, что-то пропустишь. Важно было запомнить все: слова, интонацию, паузы и недоговоренности, даже движения глаз. Сердце у меня билось так, будто я через две ступеньки шпарил вверх по лестнице небоскреба.

— Английские гарантии безопасности Польше ситуацию по большому счету даже улучшают. Смотрите. Польша опирается на Англию. Англия, Франция и Россия опираются друг на друга и на свой антивоенный договор — прошу заметить, не антигерманский в узком национально-политическом смысле, но именно антивоенный, поскольку он обязывает к действиям только в случае нападения Германии на какую-либо из трех перечисленных стран, а в силу гарантий Англии Польше — то и в случае нападения на Польшу. При этом, с другой стороны, Германия и Россия опираются на Россию и Германию, гарантированно получая одна от другой все, что им нужно для укрепления собственной обороноспособности. Поэтому все успокаиваются. Никто не чувствует себя припертым к стенке. Ни над кем не нависает никакой дамоклов меч. Ни у кого не возникает обманчивых соблазнов. Все осознают, что ни единый конфликт не может быть локализован и любая военная авантюра немедленно приведет к новой общеевропейской катастрофе. В этих условиях наши разногласия с Польшей по поводу Данцига и восточнопрусского коридора могут быть решены на переговорах неторопливо, хладнокровно и взаимоприемлемо. Более того — только в такой обстановке они и могут быть решены!

Он глубоко вздохнул.

— В течение нескольких месяцев, по крайней мере начиная с ноября, я и мои единомышленники в Берлине всячески пытались довести эти и еще множество подобных доводов до нашего руководства. И по официальным инстанциям МИДа, и любыми иными способами. В последние недели наши усилия, похоже, увенчались

успехом, и высшее руководство рейха, я сужу по многим признакам, начало склоняться именно к этой политике.

— Я могу вас только поблагодарить и поздравить, — осторожно сказал я.

Он угрюмо наклонил лысую длинную голову так, что едва не воткнул хрящеватый нос и усы в стынувший кофе.

— Я не знаю, стоит ли меня поздравлять, — сказал он глухо. — Может быть, лучше проклясть и не верить ни единому слову. Ни моему, ни вообще кого-либо из немцев, что будут сулить вам мир и дружбу. Дело в том, что я не могу поручиться, принята ли эта политика руководством рейха искренне, как долгосрочная и обязывающая, или в Берлине решили воспользоваться нашими планами, чтобы использовать ресурсы СССР для решения конкретной задачи — разгрома Польши, а затем вести дела, не придавая договоренностям, за которые я так боролся, ни малейшего значения. Понимаете, — с болью сказал он, — я этого не знаю! Вот сейчас я говорю с вами, и мне неведомо, спаситель я или подлый обманщик.

Эта вспышка отчаянной откровенности потрясла меня.

— И вот что я хочу вам сказать, — проговорил он, справившись с волнением. — Вот о чем я хочу попросить. Вот для чего я все это, собственно, затеял.

Опять помолчал.

— Ситуация меняется едва ли не каждый день. Намерения могут меняться вместе с ней. То, что вчера было планом дезинформационного прикрытия, в изменившихся условиях может стать планом реального конструктивного взаимодействия. И наоборот. Поэтому. Поэтому, — он глубоко вздохнул, будто собрался нырнуть с высоты. — То, что я предлагаю... о чем прошу... очень рискованно. Я понимаю. Как отнестись к моим словам, решать вам, и только вам. Но когда в Кремль начнут поступать те или иные наши официальные предложения, через меня или по каким-то иным каналам, более выгодные, менее выгодные, постарайтесь отнестись к ним с пониманием. Я не могу исключить, что в данный момент они будут обманом, но они могут перестать быть обманом и стать основой для союза. Даже если некий уровень отношений достигнут лишь с целью усыпить бдительность партнера и затем от них отказаться, то в случае, если отношения устраивают и приносят пользу, от них можно захотеть не отказываться. А я и мои единомышленники со своей стороны будем делать все возможное, чтобы так и случилось.

Он запнулся на мгновение и добавил:

— Вот что я хотел вам сказать.

И вдруг решительно взял свой стакан кофе и выпил большими глотками. Пленки к этому времени успели осесть на дно, но Шуленбург испил чашу до дна, точно теперь, после всего, что он мне наговорил, не боялся уже ничего. Даже русского кофе.

— Спасибо, граф, — медленно сказал я. — Спасибо. Я крайне вам признателен. Прежде всего — за ваши миротворческие усилия и, разумеется, за откровенность. Я самым тщательным образом проанализирую эту информацию и уже потом решу, как дальше с ней поступить.

— Разумеется, — чуть осипшим после гастрономического подвига голосом сказал Шуленбург. Видно, кофейные скаты все еще всплескивали плавниками у него в горле.

— Со своей стороны, — осторожно, взвешивая каждое слово, продолжил я, — хочу уже теперь, вне зависимости от того, как руководство моей страны отнесется к тому, что вы рассказали, заверить вас и ваше руководство: СССР всегда был и навсегда останется приверженцем политики мира. Хотя бы потому, что перед нами стоят слишком крупные внутренние задачи. Это же элементарно. Да, мы с вами за последние годы немало крови попортили друг другу. Советское правительство

не могло игнорировать то, что основой идеологии и политики Германского рейха являются, во-первых, яростный и бескомпромиссный антикоммунизм, а во-вторых, многократно заявленное намерение военной силой расширить жизненное пространство Германии за счет европейской части СССР, прямо истребляя наше население. Но как вы совершенно справедливо отметили, граф, политика может меняться, подчиняясь велениям времени. У нас говорят: худой мир лучше доброй ссоры. Думаю, не ошибусь, заверив вас, что мое руководство приветствовало бы любое улучшение отношений между Советским Союзом и Германским рейхом, если такое улучшение не потребует отказа от наших принципиальных ценностей.

Шуленбург точным движением извлек из кармана брюк носовой платок и аристократично промокнул губы.

— Отрадно слышать, — проговорил он. Сказав главное, он, судя по всему, начал мало-помалу отмякать. Даже бисеринки пота на лысине, такой гладкой и ухоженной, что она, казалось, отбрасывала блики, быстро просыхали. Лысину ему даже не пришлось промакивать. Пряча платок обратно в карман, он глубоко вздохнул. Тоже знак сходящего напряжения. — Знаете, я человек старой школы... еще бисмарковской... У таких крупных и сильных стран, как Германия и Россия, не может не быть разногласий и противоречий. Это понятно. Уж слишком близко мы друг к другу расположены. Но именно эта близость должна бы вынуждать нас к большей взаимной... не побоюсь этого слова... кротости. А по отношению к окружающему миру мы, никоим образом не ущемляя друг друга, могли бы, и должны были бы, проводить более слаженную и скоординированную политику. Вы согласны?

— Звучит как ангельское пение, — улыбнулся я.

— Но это же вполне реально, — начал горячиться он. — Это же вполне прагматично! Атлантический мир одинаково чужд и вам, и нам. У нас всегда было много общего. Особенно теперь, когда наши политические и идеологические системы еще более близки, чем при царе и кайзере!

Я досчитал до десяти, потом сказал:

— Тут я не могу с вами согласиться в той степени, в какой мне бы этого хотелось.

Он, чувствуя, что обязательную и главную часть встречи завершил, причем завершил не безуспешно, склонен был, видимо, поговорить и на более общие темы. Они, видимо, его тоже волновали.

— Это ваше право, конечно, — примирительно сказал он. — Политические режимы, установившиеся в наших странах в результате свалившихся на нас бед, представляют немалые неудобства для порядочных людей. Но для наших стран в целом они являются гарантией спасения. Если только порядочные люди не оставят их на произвол судьбы. Потому что... — Он опять глубоко вздохнул. — Потому что страшно даже представить, что может случиться с нашими странами и с миром в целом, если ваши и наши органы власти покинут все порядочные люди и в них останутся одни непорядочные.

Я поймал себя на том, что тоже вздохнул. Видно, и меня взяло за живое. Получалось, что мне о самом важном не с кем поговорить, кроме как с вражеским интеллигентом, — а ведь не с кем. Я сказал:

— Тут я не могу с вами не согласиться.

Он с сочувственным пониманием покивал.

— Но только по последнему пункту, — сказал я. — В целом же...

— Что в целом?

— Я бы хотел, граф, чтобы между нами не оставалось никаких недомолвок. Это было бы не достойно ни вас, ни меня. Поэтому представьте себе двух подростков. Один мечтает быть грозой двора, мечтает быть в состоянии, если ему заблагорассудится,

отнять у одного велосипед, у другого совок и ведро и царить посреди всей детворы: этому дам, у этого отберу, этому нос расквашу, этот мне принесет денег на конфеты. Другой мечтает, когда вырастет, стать великим альпинистом и взойти на Эверест. Чтобы их мечты сбылись, оба по утрам истязают себя зарядкой, обливаются ледяной водой, ворочают гири и едят поменьше жирного. Для внешнего наблюдателя их поведение выглядит одинаково. Если судить только по поведению, игнорируя цели, которые оба ставят, можно решить, будто они близнецы-братья.

Шуленбург долго молчал, глядя на меня то ли с восхищением, то ли с состраданием.

— Эверест — это, разумеется, ваш коммунизм, а грозой двора, разумеется, хочет стать Германия, — уточнил он потом.

— Разумеется, — ответил я.

— Но ведь с тем же успехом я могу сказать, что именно вы с вашей идеей мировой революции мечтаете стать грозой двора, а как раз Германия всего лишь пытается взойти на Эверест национального возрождения. Распределение ролей тут зависит единственно от того, к какому народу ты принадлежишь и какую страну любишь.

— Рад был бы согласиться с вашей диалектикой уже хотя бы из скромности и из уважения к вам, граф, — возразил я. — Но не проходит. Прошлое не может быть Эверестом, им может быть исключительно будущее. Только в далеком прошлом полноценным человеком считали лишь людей своего племени. Только в будущем — надеюсь, не очень далеко — любого первого встречного будут априори считать полноценным человеком. Вы строите мир племенного господства, и, стало быть, ваш Эверест направлен вниз, это не гора, а яма. Не вершина, а могила. Имеет смысл надсаживаться, чтобы попробовать пешком дойти до неба. Пусть не дойдешь, но всяко поднимешься выше туч. А вот рвать жилы, чтобы выкопать себе... Простите.

— Вы не приемлете национал-социализма, и по вполне понятным причинам, — задумчиво сказал Шуленбург. — Это исторический конкурент коммунизма, полный его антипод. Однако, насколько я знаю, большевики с большим уважением относятся к французской революции. Так вспомните: французы восхищаются ею и полагают себя ее детьми до сих пор. Они прощают якобинцам и голод, и террор, и бойню в Вандее. Почему? Потому что революция была национальной, и именно революционеры называли себя патриотами и защитниками Отечества. Французы прощают Наполеону полтора десятка лет сплошной войны и три миллиона французских трупов, сгнивших по всей Европе. Почему? Потому что он назывался императором французов, а не... Если бы в ту пору в Париже выходила бонапартистская газета «Правда», она гордо именовала бы его, наверное, вождем мировой буржуазии. И тем, разумеется, выкопала бы ему яму, а вовсе не вознесла на Эверест. Ваш Маркс фатально ошибся. Именно у пролетариев есть Отечество, и именно благодаря этому есть кому каждое Отечество благоустроить и защищать. Отечества нет только у крупного капитала. И пролетариат никогда не сможет переиграть капитал на этом поле. Лозунг «Кто-нибудь всех стран, соединяйтесь!» успешнее всего реализуется именно буржуазией. Уже потому хотя бы, что пролетарий в лучшем случае едет по миру на «копейке» или «народном автомобиле», а буржуа летит на личном бизнес-джете.

— Да, — сказал я, — тут Маркс ошибся. Чтобы это понять, нам понадобилось несколько лет кровавых ошибок. Но в конце концов мы решили строить социализм в одной отдельно взятой стране. Внутри наших границ нет буржуазии. Это во-первых. А во-вторых... Понимаете, каждый национальный характер имеет свои достоинства и свои недостатки. Их воспитала в нем история, их не отменишь ни уговорами, ни пулями. Но со своими недостатками каждый народ ежедневно сталкивается внутри себя сам и потому изживает сам. А вот достоинства каждого идут

в общую копилку и расширяют пространство маневра всей страны. И ровно в той степени, в какой каждый народ пополняет эту копилку, он начинает ощущать себя ответственным за общее Отечество. Знаете, как у нас говорят: что отдал — то твое. Крепче всего человек любит не тех, кто дарит ему, а тех, кому дарит он. Так он почему-то устроен. Когда этому главному свойству человека перестанут мешать — это, наверное, и будет коммунизм. Только многонациональная страна с давней традицией совместного бытия может попробовать построить такое. За каких-то двадцать лет мы в этом направлении уже очень много сделали. Если бы не бесконечные и, скажу вам откровенно, поперек горла вставшие ноты, ультиматумы, блокады, санкции, провокации, теракты и инциденты, сделали бы и еще больше. Но мы все равно сделаем. А вот уже потом наш пример мало-помалу окажет воздействие и на другие народы, за пределами наших нынешних границ. Мирно. Пример же нацизма, уж простите, может породить лишь другой нацизм. А нацизмы всегда будут враждебны один другому. Я высшая раса! Нет, я высшая раса! Со всеми вытекающими последствиями. Вы ведь лучше меня знаете, как после столкновения немцев с французским национализмом проснулся и расцвел национализм немецкий — и через каких-то полвека после Бонапарта именно Германия жестоко разгромила именно Францию. И, между прочим, как раз с этого началось то, что мы с вами расхлебываем по сей день.

Шуленбург опустил взгляд и некоторое время задумчиво рассматривал свой нетронутый коржик. Потом покачал головой.

— Я мог бы, наверное, возразить в том смысле, что никто не знает будущего и важно лишь то, что есть сейчас, — устало проговорил он. — Только на основе существующего в данный момент, на основе уже сделанного и достигнутого имеет смысл выносить оценки. Но я и сам понимаю, насколько это уязвимая позиция. Я был бы рад... возможно, даже счастлив поговорить с вами на эту тему в спокойной обстановке, у камина, в креслах, с бокалом доброго рейнвейна в руке... Не думая о войне. Но сейчас у меня отчего-то нет сил длить этот спор. Просто нет сил. Я знаю одно. Одно, — повторил он и запнулся. Оторвал наконец взгляд от несчастного коржика и вскинул на меня запавшие, больные глаза. — Если англосаксы раздавят нас поодиночке, они потом уж точно убедят весь мир навсегда, будто мы с вами — из одного адского инкубатора. И уж они-то любого первого встречного наверняка будут полагать априорно полноценным — но только потому, что к этому времени сделают любого неполноценным. Чтoб не был озабочен никакими Эверестами, ни национальными, ни интернациональными, но мечтал лишь первым ворваться в торговый центр в день распродажи. Подумайте об этом, когда будете решать, с кем вам более по дороге хотя бы до первого перекрестка.

— Хорошо, граф, — медленно сказал я после паузы. — Подумаю. И еще раз спасибо вам. Надеюсь, раньше или позже нам представится случай посидеть у камина в Германии. Или, скажем, у речки на зорьке в России. Там вам понравится еще больше, чем в этой блинной. Русские комары — такие интернационалисты!

Он озадаченно сдвинул брови, а потом понял, что это шутка, и мы оба улыбнулись. Уж конечно, комару что ариец, что недочеловек... Он ведь даже коммуниста от нациста отличить не в состоянии.

— Вот там и доспорим, — добавил я.

— Это было бы прекрасно. Пойдемте?

— Пойдемте.

Мы вышли из блинной под слепящее майское солнце, на размякший тротуар. Лысина посла засверкала. Мягкая и глуховатая тишина блинной, рокошущая приглушенными беседами у столиков, позвякивающая и почавкивающая, сменилась звонким простором весеннего ветра и задора репродукторов.

— Можете не провожать меня к посольству, — сказал Шуленбург. — Я бы хотел пройти один и подумать. Да и с точки зрения... — он выразительно повел взглядом по сторонам.

— Мне тоже есть о чем подумать, — ответил я, кивнув.

Несколько мгновений мы неловко потоптались один напротив другого; потом как-то одновременно потянули друг другу руки и, с облегчением обнаружив ответный порыв, обменялись крепким, долгим рукопожатием.

— Берегите себя, — сказал я.

Он ответил:

— Того и вам желаю.

И мы разошлись.

Нам больше не привелось увидаться ни в Германии, ни в России; мы увиделись совсем в другом месте.

А в сорок четвертом — вряд ли я скажу то, чего кто-то не знает, но не напомнить не имею права — Шуленбург принял участие в заговоре против Гитлера и был в ноябре казнен.

Не ржавеет

Когда я вошел, она безразлично скользнула по мне взглядом и не узнала. Я не вписывался в ее мир, не сочетался с ним; мне было здесь не место.

Смутно ощутив неладное, она вернулась глазами. Не приближаясь, я улыбнулся ей и приветственно помахал. Ее взгляд шархнул от моего, точно напоролся на что-то колючее. Она торопливо вернулась к делу: отпустила уже оставившему на прилавке деньги старику с клюкой пузырек слабительного, украшенный фонтанчиком притиснутого резинкой к горлышку рецептурного листка, что-то заботливо старику пояснила вполголоса и лишь тогда, повернувшись в глубину аптеки, громко позвала:

— Ильнара! Ильнаровичка! Подмени на пять минут!

Выйдя из-за стойки, Аня подошла ко мне.

— Надо поговорить, — сказал я.

— Идем.

В ее голосе не было ни приветливости, ни тепла.

Коротким коридором, освещенным единственной лампой в железной сетке, загроможденным пустыми коробками, мы вышли во внутренний двор — скорее, пятачок, покрытый крошащимся асфальтом. У слепой стены напротив тяжело кисли два помойных бака; из них, точно комковатое адское тесто, пер душный хлам. Прямо у выхода тихо мучился, размахивая ветвями на ветру, выросший из трещины в асфальте куст сирени, отцветший и потому словно обожженный. Под ним тянула исчирканную узкую спину скамья. У ножки ее, полная окурков, доживала свой век мятая ржавая кастрюля с отломанной ручкой. По-хозяйски роились матерые мухи.

— Садись, — сказала Аня и сама резко опустилась на скамейку. Достала из кармана белого халата пачку папирос, выщелкнула одну. Подождала, видимо, уверенная, что я должен дать ей огня. Я сел рядом и развел руками.

— Не курю, — сказал я, — и нет ни спичек, ни зажигалки.

Ее лицо презрительно дрогнуло: мол, даже спичек у тебя нет. Она достала спички, размашисто и умело, в горсть, чиркнула и закурила. Выдохнула облако дыма. Его тут же сорвало ветром.

— Что? — спросила она.

— Пришел сказать, что я все сделал. Насколько сумел. Вчера мне сообщили, что твоего Шпица перевели на поселение. Это значит, его можно навестить.

Я вынул листок бумаги, где аккуратно и разборчиво, во всех подробностях загодя расписал, когда и как двигаться, какие документы иметь и какие вещи можно захватить. Протянул ей.

— Вот.

Она взяла. То и дело затягиваясь папиросой, наскоро просмотрела — не вчитываясь, а просто оценивая для начала. Попробовала неловко, одной рукой, сложить листок пополам. Получилось неровно. Она зажала дымящую папиросу губами и уже обеими руками перегнула мою памятку, сложила, потом перегнула еще раз, еще раз сложила, тщательно прогладила пальцами сгиб и сунула в папиросный карман.

— Спасибо, — сказала она, глядя мимо меня.

Я смотрел ей в щеку. Землистая кожа, обтянутые скулы, пучки морщинок вокруг глаз... Сейчас, при свете дня, все это было куда заметнее, чем полгода назад в интимном сумраке писательского кафе или на зимней ночной улице. Волосы поредел и выцвели. Шея как у ошипанной куры. Рано она это, рано...

— Ждешь благодарности? — спросила она.

— Вроде бы уже дождался, — я попытался пошутить. — Ты ведь сказала волшебное слово.

— Говорят, функционеры твоего уровня за спасибо палец о палец не ударят.

— Как интересно, — ответил я. — А что надо?

Она несколько раз молча затянулась. Искорки пепла кровавой россыпью повалились вниз и разлетелись по асфальту.

— Денег у меня нет. Ценности, какие и были в семье, давно ушли на еду. Все, что я могу в качестве благодарности — это тебе отдаться, но не буду.

— Аня, — против воли я засмеялся. — Откуда у тебя такие познания по части общения с номенклатурой?

— Не вчера родилась.

— Тогда вот что. Расскажи мне в качестве благодарности, видишься ли ты с кем-то из наших. Как они? Кого куда разбросало?

— Ах, вот чего ты хочешь... — уже с откровенной враждебностью произнесла она. Догоревшая папироса начала гаснуть. Аня достала другую и, плотно прижав к первой, прикурила. Метко послала скособоченный окурочок в кастрюлю.

— Это тоже криминал? — мягко спросил я.

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты здесь? — спросила она в ответ. — Тщеславие, одно тщеславие. Вас сажают, а я вот хожу и могу спасти, а могу и не спасти. Калиф Гарун. Наверное, ты об этом с детства мечтал. Мой муж — умнейший и добрейший человек. Лучший человек, какого я знала. Чем он-то вам не угодил? А сидит. А я вот, мол, одно словечко скажу, и те, перед кем вся страна на коленях, сделают по-моему. Осчастливил и надулся, как насосавшийся крови клоп. Теперь хочешь, чтобы я и про других тебе что-нибудь рассказала такое, чтобы ты мог раздуться еще толще. — Затянулась. — Вы там у себя творите с нами, что хотите. И еще благодарности ждете за это. А послушать, как самые прекрасные ребята бьются кто где, кто кочегаром, кто дворником, — это лучше всякой благодарности. Хотя вот им бы, добрым, умным и честным, как раз и править страной. Они бы ни капли крови не пролили. Со всем миром были в бы в дружбе. Ни единой слезинки бы из-за них... Ну куда там. А ты хочешь слушать и думать про себя: вот я, бездарь и недоучка, жалкий заморыш, теперь вершитель ваших судеб!

Она умолкла, буквально задохнувшись от ярости. Всосалась в папиросу, и та с готовностью швырнула ей на колени и в ветер очередной фонтан искр.

— Зачем же ты меня о помощи просила, если я такой мерзкий? — тихо спросил я.

Она помолчала. Выдохнула дым. Покачала головой. Ее лицо сморщилось от неприязни к самой себе.

— От безвыходности, — отрывисто сказала она.

— Вот видишь, — проговорил я. — От безвыходности люди иногда делают то, чего вовсе не хотят. И то, что в других наверняка осудили бы. Почему ты думаешь, что у меня не бывает безвыходности? Почему ты думаешь, что не бывает безвыходности у тех, кто, как ты говоришь, делает с вами, что хочет?

Она хлестко глянула на меня даже не с негодованием — с гадливым недоумением. Словно я сморозил такую несусветную глупость, какой даже названия не подобрать. Снова отвернулась и непримиримо отрезала:

— У вас власть. Вы за все отвечаете. Вы же сами все это устроили!

— Нет, — мягко проговорил я. — Это устроили те, кто кричал: ура микадо!

Если б не они, хотел сказать я, бандиты остались бы бандитами и мыкались бы по тюрьмам, получая свое, мечтатели остались бы мечтателями и писали бы замечательные книги, лечили бы и спасали людей, и ни тем, ни другим не пришлось бы бок о бок разгребать руины, наполовину мародерствуя, наполовину мечтая. А революция оказалась бы именно революцией: насильственным изменением строя в стране, а не насильственным изменением страны.

Но пока я мучительно старался выразить все это покороче и потактичней, чтобы, не ровен час, не обидеть, она решила, что уже поняла.

На несколько мгновений ее будто парализовало. Она так и замерла щекой ко мне, сутулясь, почти горбясь, с тлеющей папиросой в прокуренных пальцах. Потом размашисто кинула окурков в кастрюлю. Промахнулась; окурков, разматывая струйку дыма, покатился по битому асфальту. Встала. И, сошурившись, изо всех сил ударила меня по щеке.

У меня глупо, как у игрушечного болвана, мотнулась голова. Это было очень неожиданно и больно. До слез больно.

Она всматривалась в мое лицо с такой жадностью, что даже пригнулась, как охотница. И, конечно, заметила, что на глазах у меня нахохлились слезы.

— Плачешь? — спросила она. — Это хорошо. Может, поймешь, как мы плачем.

— Аня, — сказал я, улыбнувшись еще подрагивавшими от боли губами. — Ты же сейчас, почитай, меня расстреляла.

— И что? Теперь ждать ареста? За осуществление действий террористического характера в отношении представителя советской власти, да? Или кто ты там?

— В меру отпущенных тебе возможностей, конечно, — добавил я. — Но вполне без суда и следствия. Согласно пролетарской справедливости. Руководствуясь исключительно классовым чутьем. А ведь ты только что заверяла: если бы правила такие, как ты, ни у кого бы ни единой слезинки не пролилось. Значит, у вас в расчет тоже идут слезинки лишь строго определенного круга лиц?

Ее разгоревшееся лицо разочарованно обмякло.

— Фигляр, — сказала она. — Шут гороховый. До тебя вообще не достучаться. У тебя просто нет сердца. Ни достоинства, ни жалости... Труп с полномочиями.

Резко повернувшись, она шагнула обратно к двери; каблук подвернулся на выбоине в асфальте. Едва не рухнув, она с яростным негодованием всплеснула лоящими равновесие руками. Я почувствовал, как ее пронзило: было бы совершенно некстати сейчас повалиться, совершенно не в образе. Нет, не упала. Выровнялась. Ушла.

Хлопнула вбитая в косяк пружиной тяжелая дверь.

Я остался сидеть.

Во всяком случае, бумагу с инструкцией она получила. Все остальное было неважно. Не очень важно.

Менее важно.

Она потом никогда не рассказывала мне о своей поездке к мужу, а я, разумеется, не спрашивал. Но много позже, окольно, я узнал, что она сорвалась туда, ни дня не медля. С собранной на последние деньги передачей — скромная снедь из той, что не грозит испортиться по дороге, теплые вещи, любимые книги Шпица и вроде бы какие-то его черновики, — поволоклась через полстраны, махнув рукой на угрозу увольнения за самовольную отлучку до наступления очередного отпуска.

Она добралась примерно через неделю после того, как в хибару Шпица перебралась к нему жить его тамошняя, тоже из ссыльных — впоследствии действительно ставшая, как я уже говорил, его новой женой. С присущей эсеровским дамам страстной экзальтацией она вообще не пустила Аню на порог; объяснила ей положение, обругала последними словами и захлопнула перед носом дверь, оставив ее стоять в ошеломлении на крыльце с вещевым мешком в руках и тщетно отмахиваться от визжащих в восторге туч гнуса: неожиданная добыча оказалась беззащитна. Ане некуда было деться. Катер обратно уходил лишь наутро. Но тогда она еще не заплакала. Она просто не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Где-то на краю поселка лениво перебрехивались собаки; из-за перелеска, от пристани, поверх пилящего воя насекомых брезжила бравурная музыка. Потом Шпиц все же вышел. Пряча глаза, забрал вещмешок. Потоптался. «Страшное время, Анька, — сказал он, — страшное. Советская власть нас всех убила». И ушел в дом. И она услышала, как со скрипом задвинулся с той стороны деревянный, грубо струганный засов-вертушка. Наверное, они там побоялись, что она станет к ним ломиться.

Породнимся?

Мы с Машей держались чуть позади сына, точно принца эскортировали на коронацию — а на самом деле готовые каждый со своей стороны поддержать его, если что. Сережка, припадая на недолеченную ногу и неумело опираясь на трость, сосредоточенно, как гусак, вышагивал впереди; его хоть и выписали, но для полного восстановления, сказал врач, понадобится еще месяца три, а легкая хромота (это уже лишь мне на ушко) грозила остаться на всю жизнь. Восемь сбитых на счету, а на девятом споткнулся: уже раненный, уже теряя устойчивость, все же достал японца на вираже, так что тот тоже задымил, но осталось неясно, рухнул он в конце концов или, как и Сережка, дотянул. Наш герой, разумеется, и сегодня предпочел быть в форме, и тут даже Маша, всегда мечтавшая хоть по праздникам видеть сына при костюме и галстук, не могла ничего возразить: на груди ребенка маленькой кремлевской звездой горел позавчера врученный орден.

На лестнице стоял душноватый теплый запах недавней влажной уборки. В доме для крупных научных работников оказался лифт не хуже нашего — просторный, в широкой зарешеченной шахте, и сквозь серую ячеистую вязь охранительной сетки виднелись свисающие дохлыми питонами темные шланги; к двери лифта вели две цементные ступеньки. Сережка, хромая, преодолел их первым, свободной рукой надавил никелированную ручку и распахнул лязгнувшую дверцу. Шагнул навстречу своему отражению в зеркале на противоположной стене кабины. Громко екнул продавившийся пол. Мы вошли. Сын хозяйски захлопнул дверцу, нажал кнопку «3»; он нас, понимаете ли, транспортировал, а не мы его. Лифт передернулся и, железно бабахая нутром, натужно потянул нас вверх.

Сережка явно волновался. И Маша волновалась. А я... Я улыбался.

Вчера уже глубоко вечером, под конец рабочего дня, ко мне без звонка, без предупреждения, этак запросто по-соседски, зашел Лаврентий. Поздравил с выздоровлением сына-героя, с заслуженной правительственной наградой... Трудно было поверить, что он заглянул на огонек лишь ради этого. Он зигзагом перешел с Сережкиного подвига и ранения на воздушные бои над Халхин-Голом в целом, о роли авиации в современной войне, о тактике и стратегии истребительных частей, потом о преимуществах японских «ки» над нашими «ишачками». За окном медленно остывало, густело и сахарилось сладкое варенье летнего вечера; я зажег в кабинете свет. Лаврентий прервался и, неслыханное дело, спросил: «Я тебе не мешаю? Не задерживаю?» Что-то большое сдохло в лесу, подумал я, отвечая, разумеется, как он и ожидал: что ты, старина, конечно, нет, я тебе всегда рад, только, дескать, в самолетах я мало что смыслю, разве лишь то, что сын рассказывает. Да дело не в самолетах, нетерпеливо ответил Лаврентий. То есть и в самолетах тоже, потому что создание новой техники затягивается, а время не ждет. Но при всем значении авиации новая техника ею ведь не исчерпывается, так? Тут возразить было трудно.

Вот взять ученых, продолжал Лаврентий. Сколько у них времени впустую до сих пор тратится на быт. Быт у нас в стране, прямо скажем, еще не очень отлажен, но даже будь он, как в раю, там все равно возникли бы иные, уже райские, проблемы: что велеть приготовить на обед, что на ужин, какой мебельный гарнитур поставить в гостиной, а какой — в спальне и всякая подобная хрень. Вместо того чтобы над чертежами или расчетами корпеть, у кульманов и вычислителей отдавать все силы ума повышению обороноспособности первого в мире государства рабочих и крестьян, золотые мозги республики ходят с женами в распределители, торгсины и даже обычные продуктовые да кондитерские, а то присматривают, какой костюм себе, супруге или детям купить, примеряют их... Это же какая прорва времени валит в никуда! А потом еще и хвастаются друг перед другом: у меня вот такая мебель и вот такая шуба, а у меня вот какой телевизор... Вместо того чтобы хвастаться тем, кто сколько вчера навывислял, напереводил, наоткрывал и наконструировал.

Ученые и прочие инженеры народ ведь тщеславный, честолюбивый. В этом ничего худого нет, даже наоборот. Надо, однако, чтобы все их самоутверждение, вся их полезная для дела конкуренция сосредоточена была в сфере научных и технических достижений, а не разбазаривались на бытовую суету, на попытки утирать носы друг дружке добытым невесть где и как редкостным барахлом или успехами у баб. Формулами пусть носы дружка дружке утирают, двигателями, заработавшими с невиданной отдачей, сверхмощной взрывчаткой, оптикой с немыслимым доселе разрешением, прирученными радиоволнами. И ничем, кроме. Время сейчас не то, чтобы женами, шубами и мебелью мериться.

А уж на их внутренние интриги сколько времени и сил у них у самих же выгорает — это отдельная песня. Научные склоки тянутся годами, и вреда от них общему делу больше, чем от немецких и японских шпионов, вместе взятых. А вот если поставить всех в равные условия, да чтобы ни один не был полноправным начальником, и ни один — старшим помощником младшего чертежника, вот тогда научно-технический прогресс так рванет, что пальчики оближешь.

Преамбула заняла уже более четверти часа. Я начал догадываться, куда он гнет, и не очень удивился, когда он вкрадчиво подытожил: «А у меня в шарашках все это, в общем, так и есть».

Я смолчал. Спору нет, его закрытые КБ в последнее время начали и впрямь давать неплохой выход. Я бы даже сказал: обнадеживающий. Кстати, и в области авиа-

строения. Но мне претило. Я подумал-подумал, и единственно, что нашел сказать, это: «Знаешь, частенько успех у баб дает такие творческие прорывы, что никакое освобождение от тягот быта не сравнится».

Он с готовностью улыбнулся и уронил: «Со знанием дела говоришь». Я насто-рожился. Он это почувствовал и замахал на меня руками: нет, нет, я пошутил, мы знаем, ты жене верен! мы только не знаем, почему ты ей верен, но это же совершен-но не наше дело!

Ого, подумал я. К чему это? Намекает, что у них там уже телескоп поставлен, чтобы рассмотреть, когда же я наконец Надю пригублю-приголублю? Зачем? Или это у него проходная реплика, а на воре — то есть на мне — уже и шапка полыхнуть готова? Я счел за благо поддержать его тон и рискнул запросто показать ему кулак.

Он добродушно засмеялся.

А потом продолжил: и вот у меня в связи с этим к тебе дело. Не в службу, а в друж-бу. Сына твоего выписали на днях, и раньше или позже он тебя с родителями неве-сты, конечно, познакомит. Я в твою порядочность и в твое чутье верю, как редко кому верю. Ты будешь объективен, и ты будешь честен. Это все знают. Папашка ее счита-ется довольно крупным исследователем и организатором науки. С другой стороны, он этакий, знаешь, вольнодумец. И не скрывает этого, а даже бравирует, и я боюсь, на неокрепшие мозги молодых сотрудников может повлиять, сам того не желая, не лучшим образом. Вот присмотрелся бы ты к нему. Не лучше ли будет и ему, и стра-не, если мы его освободим от лишних бытовых хлопот и научных дрызг. Понимаешь?

Я досчитал до десяти.

Потом, изо всех сил сохраняя не то что спокойствие, а полную дружескую непри-нужденность, спросил: а на него что, уже накатал кто-то? Лаврентий с досадой по-морщился: да это неважно, не в этом дело. Он катает, на него катают... Надо в прин-ципе понять, не будет ли, с одной стороны, ему самому лучше работаться в спокой-ной обстановке. А с другой — накатать-то могут в любой момент. Причем, не ровен час, отыщется настолько резвый мастер пера, что по его бумажке придется уже не в первоклассное КБ человека водворять, а гнать на лесоповал. А он же без пяти ми-нут тебе родственник. Пожалей старика.

За эти последние минуты дружеского разговора майка на мне стала — хоть выжми.

Присмотрюсь, пообещал я.

Он тут же поднялся. Я твой должник, сказал он. И ушел.

А я еще минут десять сидел в кабинете, успокаиваясь и приводя мысли в порядок.

Нас, конечно, ждали. Надя, рдея, как маков цвет, чмокнула Сережку в щеку, сер-дечно поприветствовала Машу (та ответила тем же — ну прямо лучшие подруги) и, стараясь не глядеть в глаза, по-мужски протянула мне ладошку для рукопожатия. Я аккуратно тронул ее прохладные нервные пальцы. Состоялась церемония взаим-ного официального представления. Мельком оценив обстановку квартиры, я не-вольно вспомнил Лаврентия; тут, похоже, и впрямь о комфорте и роскоши заботи-лись не в меру. Хрусталь, ковры, красное дерево, на стенах картины в массивных ви-тиеватых рамах и какие-то африканские маски...

А ее отца я сразу узнал.

А он меня — нет.

Ну еще бы. Он тогда по сторонам не смотрел, только на шефа и по большей части на себя. Любоваться собой он умел, и было чем. В свое время он слыл одним из самых блестящих членов плехановского кружка, мыслил тонко и точно, гово-рил красиво, доказательно и умно. Порой даже слишком умно. Помню, как я любо-вался им из своего угла, как восхищался, и, что греха таить, завидовал, и пытался за-учивать те выражения и термины, что легко и беспрестанно, целыми пригоршнями,

как зерна с ладони сеятеля, слетали с его языка. Помню, в какое тягостное недоумение я впал, когда мой кумир оказался в числе защитников трактата, о котором я, кажется, упоминал уже: насчет спасительности для российской экономики, политики и культуры немедленного перевода письма на латиницу. Должен признаться, таких защитников оказалось немного, и даже сам шеф в этом смысле оказался куда скептичнее; но тем с большим пылом и изяществом нынешний отец Нади, элегантный, уверенный, страстный, отстаивал, даже вопреки мнению самого Плеханова, свои взгляды. И как отстаивал!

Дискретный прогресс идентичности... Адаптационная трансформация архетипов...

Я в те времена и слов-то таких не слыхивал.

Лишь много позже я начал понимать, что это не более чем шаманство. Авла-савла-лакавла... Что такое дискретный прогресс? Это значит: у меня в имении прогресс, а вы там в деревне и так перебьетесь. А что такое дискретный прогресс идентичности? Это значит: я мыслю по-европейски и, значит, уже умный, а вы еще мыслите масштабами своего болота и, стало быть, дураки, поэтому то, что говорю я — важно и правильно, а то, что говорите вы — лягушачье кваканье.

Вот так переложить по-простому, и сразу становится ясно, что ничего нового не произнесено. Все старо как мир.

Понемногу разгорался костерок общей беседы, и каждому перепадала от него толика тепла.

Маша была в ударе, шутила, подтрунивала, восхищалась, с готовностью ахала, хотя по временам мне чудилось, что ее веселое возбуждение имеет некий привкус истеричности. Смеялась она громче и как-то дольше обычного. И стреляла взглядом по сторонам, особенно на Надю: видите? я вся смеюсь, мне весело!

Анастасия Ильинишна оказалась на хозяйстве; домработницы у них то ли не было, то ли ее отпустили на этот вечер, чтобы не замутняла интим. Надя попробовала было взять на себя таскание блюд, обновление салфеток и прочую столовую лабуду, но мама ей не позволила и, чуть вперевадку кружа между кухней и столовой, ласково любовалась, как пригоже и ладно ее дочь и Сережка смотрятся рядом. От молодых будто теплое излучение катилось, то ли инфракрасное, то ли пожестче; солнечный ветер, давление которого я ощущал всей кожей.

Иногда, случайно, мы сталкивались с Надей взглядами, и тотчас они чуть ли не с деревянным стуком отскакивали друг от друга. Но даже глядя в другую сторону, я ощущал их с Сережкой, и когда они дотрагивались один до другого, меня било током.

Первая бутылка перетекла в нас, и тут, как обычно бывает, оказалось, что своей очереди в холодильнике дожидается вторая. Мало-помалу Маша и Анастасия Ильинишна замкнулись друг на друга: а как вы печете? А чем вы приправляете? Я, знаете ли, вот чем... А если в фольге...

Хозяин за столом царил, и царил по праву. Все тосты были его. Он лучился доброжелательностью, он был снисходителен и добр, как Дед Мороз, и столь же исполнен даров. Всех нас он со своих высот называл замечательными, прекрасными, умнейшими из умнейших и достойнейшими из достойнейших. Не знаю, что ему рассказывала о нас Надя; похоже, он, как и она сама в памятный первый вечер, держал меня за кого-то уровня инженера средней руки. Ну, может, если она о дипломатии все же обмолвилась — старшего письмоводителя в канцелярии наркомата. Я ему был не конкурент, и потому он души во мне не чаял.

Слегка захмелели наконец.

Я пропустил момент, когда разговор перестал быть ни о чем. Что-то, кажется, Маша спросила Анастасию Ильинишну насчет телевизора, вернее, кинокартины, недавно прошедшей по телевизору.

— Мы не смотрим, — опередив жену, снисходительно ответил Маше Надин отец. — Не по нраву нам нынешняя промывка мозгов.

— Это как? — спросил Сережка.

Будущий тесть посмотрел на него с удивлением и досадой. Будто сказав нечто совершенно простое, всем известное и очевидное, например «горшок» или «книга», и вполне готовый развивать мысль дальше, он на ровном месте столкнулся с нелепым непониманием; собеседник бестактно прервал его вопросом: «Что такое горшок?»

— Ну, как вам... — явно несколько смешавшись, проговорил ученый. — Вот, скажем, часто говорят об экономических трудностях. В таком, знаете ли, бравурном ключе: мол, преодолеем, превозможём... И в то же время — того еще у нас нету, этого нету... Никто не скажет честно, что мы сами во всех трудностях и нехватках виноваты. Советовали же в начале двадцатых умные люди сдать все в концессии англичанам, французам, американцам, японцам. Сейчас жили бы припеваючи, как сыр в масле катались. И, кстати, не возникло бы никакой угрозы войны, о чем сейчас опять-таки столь много и столь пафосно говорят. Если бы все ресурсы и производственные мощности Союза принадлежали передовым государствам, они бы свою собственность и защищали, потому что кто же расстанется со своей собственностью? Понимаете?

— С трудом, — хладнокровно ответил Сережка.

— Ну, молодой человек, вам просто не хватает кругозора. А может, информированности. Свою историю надо знать! — с доброй улыбкой отец Нади поднял назидательный палец.

Этот человек явно был заточен исключительно на общение с собственными подобиями или теми, кто смотрел ему в рот. С теми, кто либо вообще молчит, либо говорит с ним на одном языке. Если ему попадались иные, он этого даже не понимал.

Один язык — это очень важно, конечно. Скажем, для нас демократия — это всенародное одобрение, а для европейцев — беспрепятственная скупка. Для нас тирания — это коммунистов сажают, а для них — куш уплыл. Но надо же хотя бы вовремя сообщать, кто перед тобой...

— А теперь смотрите, что получается. Сначала противопоставили себя всему свету. Вызвали его, так сказать, на бой кровавый, святой и правый. Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем. А когда свет наконец обратил на наш писк свое внимание, мы тут же заверещали: мы за мир! А зачем было играть в нелепую самостоятельность толстозадой ленивой России? Мы за мир, видите ли! И, разумеется, нам не верят. И правильно делают. Три года назад в Испанию вот полезли, а кто нас звал?

— Ее правительство, — сказала Надя. Я чувствовал, что ей, славной моей, нет, славной нашей девочке, что было сил хочется поддержать и защитить Сережку, но она не знает как. А тут все-таки был факт, и она сразу вставила словечко, не утерпела.

— Наденька, я тебя умоляю. Мы это правительство им поставили с условием, что оно нас позовет, оно нас и позвало. Ладно, морок кончился. В Испании наконец-то мир. Нет, нам опять нейдет: понесла нас нелегкая за тридевять земель в Монголию воевать. В Монголию, ты только подумай! Где мы, а где Монголия? Не навоевались еще, что ли? Опять в войнушку кому-то поиграть захотелось? Сколько крови в Гражданскую было пролито — нет, не идет урок впрок. Я вам открою секрет Полишинеля: у нас нет иного врага, кроме собственного правительства. Если японцы Монголию хотят — отдать им, и дело с концом, только пусть приплатят. Сколько можно было бы выручить дополнительных средств для финансирования социальных программ, для повышения окладов ученых, например. В конце концов, на улучшение бытовых условий в лагерях...

Я улыбнулся.

— Разворуют, — сказал я. — Вы даже не представляете, наверное, насколько именно там, где вроде бы самый жесткий порядок, вольготно воровать.

Он влет, по одной этой реплике, принял меня за собрата и мигом отмяк. С его лица сошло праведное возмущение и вновь сменилось снисходительным добродушием.

— Ну, как раз это я вполне могу понять, — лукаво пророкотал он. — Однако, честное слово, не вижу в том ничего дурного. Все равно деньги пойдут на повышение благосостояния граждан, а это ведь главное. Не тех граждан, так этих... Не зря же солнце нашей поэзии, наше все, еще когда припечатал: ворюга мне милей, чем кровопийца! У самих народ с голой задницей ходит, а они монголам школы строят. А потом вынуждены сами же защищать эти школы от бомбежек. Двойной убыток.

— Папа, — не выдержала Надя. У нее даже голос дрожал. — Папа, Сережа ранен был в небе над этой самой Монголией.

Ученый посмотрел на Сережку, как впервые. Его апломб на миг словно бы стушевался — но только на миг.

— С твоих слов, Наденька, мне помнилось, что наш герой посвятил себя исследованию стратосферы, — проговорил он.

— Так и было, — невозмутимо ответил сын. — Но когда самураи вторглись, я попросил послать меня туда.

Будущий тесть поджал губы.

— Что ж, — задумчиво сказал он. — Человек, который по собственному хотению едет на другой край света, чтобы убивать живущих там людей, должен быть готов к тому, что в ответ его хотя бы ранят.

Бедная Надя уже не знала, что делать. Она не могла разорваться. Не могла ни Сережку бросить, ни на отца напасть. И тогда она сделала, наверное, лучшее, что может в такой ситуации женщина: невидимо для окружающих взяла под столом Сережкину ладонь с двух сторон обеими своими, погладила, а потом плотно прижала к себе чуть повыше колена. Меня опять прожгло вольтажом; не своей, так Сережиной рукой я почувствовал преданную девичью плоть под паутинкой летнего платья. Вот что важно, говорила она руке; все остальное пустяки, а я тут, я твоя, дай срок — я заслоню тебя и утешу, и это будет самым главным в жизни.

И тогда ребенок показал, что не лыком шит.

— Я думал, — спокойно сказал Сережка, — крупные ученые еще помнят, что в Монголии живут монголы, в Китае — китайцы, а японцы — в Японии. Монголов я и пальцем не трогал.

Анастасия Ильинишна от такой дерзости беззвучно ахнула.

Но будущий тесть оказался непробиваем. А может, включил дурака.

— Ах, молодой человек, — сказал он, — вам просто не хватает образования. Раскопки близ Чжоукоудяня показывают, что распространение синантропа...

Минуты три он просвещал нас относительно последних достижений антропологии. Не знаю, смог бы он объяснить простыми словами, при чем тут разнообразие гипотез насчет этногенеза племен, заселивших Японию в незапамятные времена; в контексте разговора это была чистая авла-савла-лакавла.

Потом он неожиданно стал сбавлять обороты.

— А вообще, — сказал он, откидываясь спиной на спинку стула и как бы показывая этим, что инцидент исчерпан, — все это пустяки. Мгновение истории. Не лучшее ее мгновение, что и говорить, но одно из последних мгновений перед рассветом. Пройдет лет двадцать, тридцать... По историческим масштабам — безделица. И воевать станет незачем. Ведь люди воюют за ресурсы. Только дети тузятся из-за фантазмагорий типа «Моя мама лучше — нет, моя мама лучше». Взрослые люди гибнут,

как говорится, за металл. Но и металл уже становится не так важен, как прежде. Главный ресурс — энергия. Когда энергии станет вдосталь, людям просто не из-за чего станет устраивать друг другу кровопускания. А это время не за горами. Вы, возможно, слышали о внутриатомной энергии? Рано сейчас говорить в деталях, но помечтать-то не вредно? Году этак в семидесятом, семьдесят пятом...

И вот мы опять благоговейно слушали, не перебивая. С этого момента, думал я, пожалуйста, поподробнее. Мне нужно было составить впечатление. Но он не шел дальше неопределенных сладких видений: из каждой розетки, дескать, польется неисчерпаемый поток счастья. Столько всего сможет невозбранно крутиться и вертеться, что и сам человек от полного довольства преобразится неузнаваемо. Ах, если бы ученые головы могли уже теперь снабдить надежными источниками внутриатомной энергии японцев и немцев, те тут же перестали бы щериться на остальной мир, сделались бы сытыми и добрыми, и угроза войны рассосалась сама собой. Изобилие ресурсов — залог миролюбия. Увы, все это благолепие еще не близко. Наука только-только подступает, а от теорий до практики — годы и десятилетия упорного труда... Так что истинной задачей нашего правительства, если бы оно и впрямь думало о людях и о мире во всем мире, было бы любой ценой затушевывать, нивелировать конфликты, сидя тише воды и ниже травы, жертвенно уступать передовым государствам и в Европе, и в Азии и тянуть время до того момента, когда мирный атом насытит людские амбиции и сделает жирный вечный мир неизбежным и необратимым. Вот тогда и нам с главных мировых столов начнут перепадать куски попитательней. Когда я понял, что к конкретике он сам не перейдет, я решил его малость потормозить; не зря же я чуть ли не ночь напролет готовился к встрече.

— А я слышал, после открытия Флёровым и Петржаком спонтанного деления урана в вашей науке многое изменилось, — сказал я. — Все оказалось и ближе, и страшнее. И вроде сверхбомба какая-то уже чуть ли не на подходе. Это слухи?

Он буквально онемел, отшатнувшись. Его припечатало к спинке стула так, будто домашний хомячок вместо того, чтобы в очередной раз уютно хрюкнуть, неожиданно произнес: «Гражданин, пройдемте». Я тогда даже не подозревал, на какую больную мозоль наступил ему, упомянув деятельность ленинградского физтеха. Но сразу понял: стоит от благостного словоблудия перейти к тому, что касается его лично, олимпийское добродушие с него сдувает, как пух с одуванчика.

Придя в себя, он ядовито засмеялся.

— Гоша Флёров! — сказал он с издевкой. — Как же, как же! Да он квартально-го отчета толком написать не может! Сумбур в голове! Пятилетнего плана собственной работы не в состоянии сформулировать, органически не в силах указать, какое открытие будет делать через три года, какое — через четыре. А ведь социализм — это не буржуазная стихия, это плановое хозяйство! Вы знаете, уважаемый, я по долгу службы присматриваюсь иногда к тому, что творит со своими птенцами Абрам Федорович Иоффе, и надивиться не могу. Им там буквально, извиняюсь, закон не писан. Вы знаете, какой у Флёрова показатель цитируемости? Не знаете? И никто не знает. Потому что никакой. Знаете, сколько у него работ за истекший год зарегистрировано в системах индексации? Одна! В скобках прописью — одна! Да и та весьма сомнительного свойства, и к тому же в соавторстве. Действительно — с Костей Петржаком. Между прочим, поляком по национальности, что само по себе настораживает. Вы знаете, какой у него пэ рэ эн дэ?

— Кто? — оторопело переспросил я.

Он отрывисто засмеялся.

— Вот! Вы, милостивый государь, даже слов таких не знаете! А беретесь меня учить физике!

И хотя вроде бы я ничему не брался его учить, а просто задал невиннейший вопрос, отчего-то оказавшийся для него неудобным, следующие минут пять он уязвленно и запальчиво разъяснял мне тонкости тех методик, при помощи которых в ученом сообществе, во исполнение указа Кобы о повышении материального благосостояния работников умственного труда, обязаны оценивать трудовое рвение друг друга. Я знал, что у всех бездушных, но пыхтящих от натуги железяк и впрямь обязательно вычисляют ка пэ дэ — коэффициент полезного действия. Там-то понятно: надо всего лишь рассчитать отношение полезной работы к затраченной энергии, и дело в шляпе. Но в своем Наркоминделе я и не подозревал, какую бездну показателей ныне требуется, то и дело забрасывая свои прямые обязанности, самым же ученым перелопачивать и перемолачивать, чтобы нелицеприятно, без предвзятости и пристрастий, по однозначным формальным критериям отделять в своей среде зерна от плевала, агнцев от козлищ и талантов от бездарей. В итоге этих вычислений и появлялся на свет показатель результативности научной деятельности — тот самый пэ рэ эн дэ, в соответствии с которым надлежало определять надбавку к окладу за подотчетный месяц: два рубля, три или целых пять.

После лекции разговор перестал клеиться. Да и шампанское кончилось, и мы, еще посмеиваясь, еще обмениваясь какими-то невинными, ничем не чреватými репликами, вскоре как-то разом ощутили, что церемония иссякла. Сережка так и просидел остаток вечера с рукой на Надиной ноге и, пользуясь тем, что под скатертью не видно, бережно поднимался все выше и выше и добрался в конце концов до самой стратосферы. Каким-то чудом я и сына, и Надю все время чувствовал. Может, потому что сам хотел. Да руки коротки. Надя обмирала при всяком его поползновении, но не возражала ни сном ни духом; однако по тому целомудренному столбняку, что нападал на нее, стоило Сережке погладить повыше хоть мизинчиком, я подумал, что у них, похоже, ничего еще не было, похоже, они действительно ждали свадьбы. И стало быть, эта красивая, стройная, умная, славная, молодая женщина все еще, конечно, была девчонкой, школьницей, ее тело ждало и дожидаться не могло великого метаморфоза, чтобы выпустить из куколки бабочку; эта мысль петляла и кувыркалась в моей голове, при всяком кувырке залепляя мне горло чем-то горячим.

А вот это, похоже, в свою очередь все время чувствовала Маша.

В общем-то, вечер удался. Из четырех с лишним часов пира напряг подпортил каких-то минут двадцать, и благодаря самообладанию и доброй воле пировавших ничуть не погубил дела. В целом все оказалось лучезарно: роскошный стол, радушие и приветливость наперегонки, вкрадчивые, но непреклонные ласки молодых, не оставлявшие сомнений в том, что светлое будущее не за горами, умные мужские разговоры и домовитые женские; Маша и Анастасия Ильинишна, наспех записав друг другу несколько кулинарных рецептов, договорились делиться опытом и впредь. Переполненные общением, уставшие и говорить, и слушать, на обратном пути мы, в общем, помалкивали.

Уже перед сном Маша, сидя на кровати в одной рубашке, выставив круглое белое колено и одну ногу поджав под себя, другую свесив на пол, некоторое время мерила меня взглядом, а потом задумчиво сказала:

- Знаешь... У меня такое чувство, что эта девочка к тебе неровно дышит.
- Да ты с ума сошла! — возмутился я. Пожалуй, чуть более поспешно, чем надо бы.
- И ты к ней.
- Маша...
- Я видела, как вы друг на друга смотрели.
- Я на нее вообще не смотрел.
- Вот именно.

— Ну, знаешь...

— И она на тебя. Я уже давно...

— Маша, — я попытался обнять ее, но она вывернулась.

— Нет, это не выход.

— Что не выход? Откуда не выход?

Она отвернулась. Сгорбилась, глядя в угол. Глухо сказала:

— Ты будешь меня, а думать, что ее. Не хочу. Не могу.

Наутро после собиравшейся всякий понедельник коллегии, куда Лаврентий непременно являлся со сводкой сведений, поступивших по каналам политической разведки за истекшую неделю, я решил не откладывать дела в долгий ящик и подошел к нему. Дипломаты неторопливо выходили один за другим; кто-то, с наготове торчащей из рта папирасой, нервно щелкал зажигалкой на ходу, кто-то вполголоса, почти на ухо собеседнику, мрачно комментировал услышанное, а Лаврентий, еще сидя, аккуратно постукивал бумагами о столешницу, выравнивая края. Я навис над ним и сказал:

— Есть разговор.

Он вскинул на меня глаза над очками.

— Понял. Сейчас.

Разложил пригодившиеся ему во время доклада бумаги по прозрачным корочкам, потом убрал корочки в кожаную, с клапанами, папку. Щелкнул застежкой. Тем временем зал опустел, остались только мы. Теперь уже я удобно присел на краешек стола.

— Я, как верный друг и надежный партийный товарищ, поспешил исполнить твою просьбу.

— Ты о папаше?

— Угу.

Глядя с любопытством, он откинулся на спинку кресла, чтобы удобнее было смотреть вверх.

— Ценю, старина. Говори, не томи.

— Он, наверное, неплохой организатор и преподаватель, но в смысле реального дела, боюсь, от него даже в шарашке толку не будет.

У Лаврентия разочарованно вытянулось лицо.

— Даже так?

— Люди подобного склада очень полезны для создания научной среды, духа постоянной дискуссии, интеллектуального фехтования днем и ночью. Это без них никак. А вот лично двигать мысль вперед, мне кажется, ему не по зубам. Ну, и вольнодумство его такое, знаешь, нелепое. Пародия. Никого он с пути истинного уже не собьет. Накушались.

Лаврентий некоторое время молчал, задумчиво потирая вытянутым указательным пальцем губы от носа к подбородку и обратно. Будто делил собравшийся в гузку рот пополам.

— С одной стороны, хорошо, — сказал он. — Я и за него рад, и за тебя. Будьте здоровы, живите богато — а мы уезжаем до дому, до хаты. Но с другой... Ты меня в тяжелое положение поставил. Понимаешь, он очень сильно под Иоффе копает. Есть у меня подозрение, что хочет ленинградский физтех под себя подгрести.

У меня вырвалось:

— Так вот в чем дело!

— А что? — цепко спросил он. — Был разговор?

— Не то что непосредственно про физтех... Но вот Флёрова он с пол-оборота чистить начал.

— Флёров? Кто такой?

— Да не это важно...

— Для меня-то важней всего вот что. Если кто-то под кого-то прикапывается, надо принимать меры либо к тому под кого, либо к тому кто. Невозможно не реагировать и оставить в покое обоих. Поэтому если твоего не трогать, то... А Абрама беспокоить очень не хочется. Матерый человечеще.

— Замни для ясности.

— Тебе хорошо говорить... — уныло произнес он. — А мне потом, если всплывет, самому так по шее накостыляют...

— Эх, Лаврентий, — сказал я. — Нам ли быть в печали!

Он покачал головой и поднялся. Взял свою папку, хотел идти, но я остановил его, тронув за локоть.

— А знаешь, как они у себя там в науке пискьями меряются?

— Что? — ошеломленно спросил он.

— Не знаешь?

Я кратенько пересказал ему вчерашнюю лекцию будущего тестя про пэ рэ эн дэ и прочие академические деликатесы. И про то, что за публикацию за кордоном они себе циферку вдвое больше начисляют, чем за публикацию на Родине. И, стало быть, еще рублем это стимулируют. И про то, что во исполнение указа Кобы (а Наркомфин при всем том ни рубля лишнего не выделил) научных их непосредственное начальство обязывает писать заявления с просьбами о переводе на полставки, чтобы они хотя бы прежние деньги получали, а согласно отчетности полочки сразу увеличиваются вдвое; и скоро, глядишь, Коба с чистым сердцем объявит народу, что вот, зарплаты счастливым работникам науки доведены, как и было обещано, до средних по региону.

— То есть чистое вредительство, Лаврентий. И все это под носом у партии!

Я не стал говорить, что еще вчера, слушая будущего тестя, припомнил удивившую меня несколько месяцев назад фразу Кобы — дескать, смертность по лагерям удалось понизить. Наверное, как зарплаты повысили, так и смертность понизили... Но походя тему лагерей с Лаврентием лучше было не трогать. Шут его знает; может, наверху этой пищевой цепочки был он сам.

Я и договорить не успел, а у него негодующе и хищно зашевелились волосатенькие пальцы; похоже, руки наркома зачесались в предвкушении принятия немедленных мер. Но это длилось лишь несколько мгновений. Даже очень могущественный человек всегда должен сознавать — и если не зарвался, то сознает — пределы своего могущества. Он может стараться их обойти, поднырнуть под них, он может прикладывать осторожные системные усилия для того, чтобы их раздвинуть, но очертя голову бодать эти пределы не станет. Глупо и опасно.

— Думаю, партия в курсе и рулит, как и во всем, — смиренно сказал он. — Но так или иначе, это не моя сфера ответственности. Это тебе в Наркомпрос. Или, еще лучше, в отдел ЦК по образованию и науке. Мне это не нравится, я бы повел дело иначе, но соваться в это не буду. И тебе не советую.

— Ладно, — разочарованно сказал я. И добавил на всякий случай: — ЦК виднее, конечно.

Надо отдать Лаврентию должное. Когда его поставили курировать атомный проект, он действительно повел дело иначе. И плевать ему было, что у Курчатова или, скажем, у того же Флёрва индекс Хирша жидковат, а у сопляка Сахарова и вообще равен нулю.

Как говорится, результат не заставил себя ждать.

Огонь

А вот эта «черная маруся» оказалась наша.

Когда ночью под окнами проезжает машина, ее медленно всплывающий из тишины приглушенный рык не нарушает сна, потому что, не обрываясь затишьем, говорит: я мимо — и честно тонет вдали. Если не спишь, тоже не тревожит. Проехала — и уехала, а ты остаешься в уюте, в сонном безмолвии по эту сторону родных каменных стен, таких прочных.

Но вот когда ночная машина останавливается у твоего подъезда...

Точно пещерный человек, сквозь собственный раскатистый храп слышавший непонятный шорох на самом пороге своего каменного обиталища, ты от внезапной тишины просыпаешься сразу.

И твоя жена тоже.

С полминуты мы лежали, не подавая вида, что проснулись, боясь даже дышать, и глядели в потолок. Там, лучась сквозь неплотно задернутые шторы, осветительной бомбой залегла меловая полоса. Когда гулко ударила внизу дверь парадного, мы переглянулись.

С лестницы донесся глухой железный вой карабкающегося вверх лифта.

— Оденусь на всякий случай, — стараясь говорить очень спокойно, предупредил я и откинул одеяло.

— Ты думаешь...

— Ничего я не думаю, Маш. Говорю же — на всякий случай. Что мне, трудно потом штаны опять снять?

Я успел надеть и домашние брюки, и футболку и торопливо приглаживал ладонью встрепанные со сна волосы, когда в дверь позвонили.

Звонок был не расстрельный. Не длинный и не короткий, бытовой, будто соседка пришла за солью или, скажем, попроситься телевизор посмотреть. Только почему в четвертом часу? Хотя вдруг ей не спится... Я зажег свет в прихожей и открыл.

Не соседка.

— Чем могу? — спросил я, сглотив.

Классика. Трое в штатском.

Без нахрапа, точно неторопливые бульдозеры, что само по себе было бы обнадеживающим знаком, если б я вообще хоть что-то понимал, они вошли один за другим, ни слова не говоря; и только когда выстроились вдоль низкого стеллажа, где мирно дремала наша обувь, один из них, с бритой головой, коренастый и очень, очень крепкий, проговорил:

— Добрый вечер. Могу я видеть капитана...

— Что? — обомлел я.

Он назвал Сережку.

Им был нужен не я. И не Маша. И не папа Гжегош. Им нужен был сын.

— Да, он дома. Он на долечивании после...

— Мы знаем, — прервал бритоголовый. — Разбудите.

— А в чем дело?

— Есть вопросы.

Я в каком-то ступоре засосал собственную нижнюю губу и не двинулся с места. Смотрел в глаза бритоголовому и не мог пошевелиться.

— Раньше начнем, — сказал тот, — раньше кончим.

Я пошел в Сережкину комнату. Гости смиренно остались в прихожей, даже не пробуя сунуться дальше. Это тоже можно было понять как добрый знак. И обыска вроде не предвиделось.

Я тронул посапывавшего Сережку за голое плечо. Вот это нервы. Молодость. Не то что машина под окнами его не разбудила, но даже незнакомые голоса в прихожей. Однако при том надо отдать ему должное: от моего легчайшего прикосновения он проснулся мгновенно, по-военному.

— Что?

— Подъем, боевая тревога, — негромко сказал я и не добавил более ни слова. Встанет, выйдет, поймет сам.

Через каких-то три минуты сын, с орденом на груди и клюкой в руке, в безупречно сидящей, разглаженной ладонью и заправленной в рюмочку гимнастерке, поскрипывая ремнями, вышел в прихожую. Троица впиалась в него одинаковыми глазами.

— Вам придется проехать с нами, — сказал бритоголовый.

На лице сына не дрогнул ни единый мускул.

— От винта, — ответил он.

Бритоголовый перевел взгляд на меня.

— Извините за беспокойство, — сказал он. — Можете продолжать сон.

Я едва сдержал уже готовый вырваться визгливый хохот. Ненавижу истерики, но тут... Едва сдержал.

Когда они вышли, и дверь закрылась, и металлический вой лифта, прерываемый клацаньем на этажах, потянулся, удаляясь, вниз, я на несколько мгновений прислонился к стене спиной. Ноги не держали. Открылась дверь в комнату тестя. Он был уже полностью одет и в руке держал узелок.

— Опоздал, — сказал я. — Долго штаны натягиваешь. Это не к тебе, папа Гжегош. В одну реку не ходят дважды.

— Еще как ходят, — ответил он, озираясь и пытаясь понять кого.

— За Сережкой, — сказал я. От изумления у него на миг округлились глаза, а потом на лице проступило мрачное торжество: мол, я так и знал.

— Ну что? — спросил он. — Уже и новых героев в ту же молотилку?

— Слушай, форпост Европы, — сказал я. — Только не сейчас.

Не смертельно, лихорадочно думал я. Не смертельно. Ни его, ни меня пальцем не тронули... Назвали на «вы»... Не сорвали награды и знаки различия... Не отобрали трость — а ведь стало бы, если моча в голову ударит или если получена соответствующая инструкция. Демонстративно вежливы были, просто демонстративно. Извинились — это вообще ни в какие ворота. Не смертельно. Совершенно другой код. Непонятно — да. Но явно не смертельно.

— Что теперь? — спросил тесть.

— А ты разве не слышал? — ответил я. — Можешь продолжать сон.

Он дернул губами и, резко повернувшись, ушел к себе. Плотно закрыл дверь.

Все равно я услышал, как звякнул стакан.

В спальне горел ночник. Маша сидела на кровати, обхватив колени руками и глядя в стену.

— Ты им отдал его без единого слова, — сказала она, глянув на меня коротко и непримиримо.

— С этими говорить не о чем, — ответил я.

— Ты им его отдал! — крикнула она.

— Ты бы хотела, чтоб я начал отстреливаться? Вот тогда бы нам всем конец.

— А так — всего лишь ему, да?

— Нет, — сказал я. — Не глупи. Это не то, что тебе показалось.

— А что? На прием в Кремль так не увозят.

— Да.

— Так что тогда?

— Еще не знаю.

Было без четверти четыре. Звонить куда-то — бессмысленно. Коба, возможно, и не спит еще, но наверняка не будет обрадован, если ему жахнуть сейчас по мозгам нашими проблемами. Лаврентию звонить раньше девяти утра тоже не стоило. Озверееет попусту, безо всякой пользы для дела. Минут пять я катал варианты и так и этак; очень трудно было сосредоточиться под осуждающим и нетерпеливым взглядом Маши. Ничего не вытанцовывалось; по всему получалось, надо ждать. Пусть каких-то несколько часов, и пусть даже они могли оказаться для сына нелегкими.

— Хочешь брому? — спросил я.

— Ты за кого меня принимаешь? — спросила она. Действительно, она не проронила ни звука, ни слезинки. — За кисейную барышню? Не дожدهшься. Я колючую проволоку под пулеметным огнем резала. И не вздумай меня утешать руками. Я ничего не забыла.

— Чего ты не забыла? — устало спросил я.

— Ничего не забыла.

— Чего ничего?

Она не ответила.

Больше мы не разговаривали. Сохранять неподвижность было труднее всего. Тело требовало действий: стрелять, бежать, ползти, карабкаться, закладывать адские машины. Душить. Но было бы бездарно и недостойно бегать из угла в угол. Маша тоже осталась сидеть — в полупрозрачной соблазнушке, такой беспомощно-трогательной сейчас, точно любимый зайка на подушке больного ребенка; со спутанными волосами на плечах, грудью в голубых прожилках, сухими глазами и ускользающим от меня взглядом.

Светало. Снаружи зазвучало утро; подали голоса просыпающиеся птицы, невзбранно прокатил по пустой улице первый троллейбус, что-то уронил дворник. Еще час, думал я. Еще какой-то час. С кого начать? Кому звонить первому, чтобы не напортачить и не сделать хуже? Наверное, сначала окольно... Климу? Он же оборонный нарком, его подпись еще не просохла на приказе о Сережкином награждении... Васе Сталину? Занавески на окнах медленно пропитывались розовым соком и начали светиться, как лепестки цветов на просвет. И в этот момент в замке лестничной двери заскрежетал ключ.

Меня будто вытряхнули из кресла. Я влетел в прихожую как раз, когда открылась дверь, и успел увидеть, как Сережка — невредимый, без единого синяка, без единой царапины, в нетронутой, по-прежнему безупречно сидящей форме — втискивается с лестничной площадки. Он двигался медленно и неуверенно, точно забыл, как работают и за что отвечают руки-ноги, и вспоминает на ходу. Притворил дверь. Замок щелкнул. Сын отвернулся от двери и только тогда увидел меня. Механически улыбнулся; глаза остались мертвыми.

— Все нормально, пап, — сказал он. — Перепугал я вас? Все нормально. Мама как? Сердце не прихватило? Ты ей валидолу дал?

Его взгляд съехал с меня вбок; я обернулся. Маша, белая, как скатерть, уже стояла в дверях, прислонясь плечом к косяку. Сережка шагнул к ней, обнял свободной рукой и чмокнул в щеку.

— Порядок, мам, — сказал он. — Погода летная.

Он пристроил трость у двери, неловко переобулся в домашнее и, хромая, двинулся к двери деда. Постучал. Услышал изнутри «Заходи!» и зашел. Остановился на пороге.

— Дед, — сказал он, — у тебя всегда ведь водка есть. Поделись.

Из прихожей в открытую до половины дверь было видно, как папа Гжегош, и впрямь, похоже, пытавшийся снова спать, вскочил с постели в одних трусах. Метнул

ся на высохших, но по-прежнему волосатых кавалерийских ногах к потайному припасу и без единого слова рассекретил бутылку и стакан. Трясущейся рукой, расплескивая, налил до краев. Протянул Сережке; стакан скакал в его пальцах. Сережка взял и, как воду, выпил до дна. Окаменевшая у косяка Маша вдруг суматошно встрепенулась, точно вспугнутая курица, и, смешно шлепая босыми ногами, побежала на кухню. Сережка ткнул пустым стаканом в сторону деда.

— Еще? — со знанием дела спросил тот.

Сын немного подышал обожженным горлом и сипло сказал:

— Да.

Маша, торопливо семеня, уже бежала назад с неровно нарезанными ломтиками ветчины и сыра на блюде.

— Закуси, Сереженька, — пролепетала она, умоляюще тыча блюдцем в сына. — Закуси.

— Спасибо, мам. Сейчас.

Он принял у деда стакан и, не задумываясь, понес ко рту. Маша ждала рядом с закуской в одной руке, а палец другой по-детски сунула в рот; я подумал, что она впопыхах порезалась. И тут водка дошла.

— Я дрянй! — страдающе сказал сын. — Я дрянй, понимаете? Мразь, слизь! Из-за таких, как я, слюняев нам коммунизм и не построить.

Никто не нашелся что ответить.

Он подождал мгновение, а потом выхлебал второй стакан так же, как и первый: механически, одинаковыми ритмичными глотками. Наконец-то нашарил, не глядя, ломоть сыру и положил в рот. Начал жевать. Потом перестал. Его повело. У него ослабели ноги, и он с пустым стаканом в руке, с раздутой левой щекой опустился на дедов стул.

— Ведь я же поручился за него, — сквозь непрожеванную закуску невнятно пожаловался он. — Поручился. Я в него верил. Я ему как себе верил!

Помолчал. Потом у него заслезились глаза.

— А теперь меня про него допрашивают... Лучше бы меня арестовали, — беспомощно сказал он. — Заслужил, — он громко икнул. — Но теперь — вот!

Его пальцы сжались так, что я испугался, как бы он не раздавил стекло. Пустым кулаком он что было сил ударил себя по колену.

— Вот так надо! — выкрикнул он с яростью и болью. Ударил сызнава. — Вот так! Чуть-чуть оступился, слегка напортачил — все! Нет тебе веры! Как кремь надо! Как кремь!!! Слабаков в расход! Никому!!! Нельзя!!! Помогать!!!

Изо рта его фонтанами летели крошки и слюна.

— Проглоти, Сереженька, — беспомощно сказала Маша. — Проглоти... И вот еще возьми кусочек... Ты же любишь ветчинку. Вот ветчинка, видишь? Скушай...

Я позвонил в половине одиннадцатого. Не мог больше ждать.

— Коба, мне срочно нужно уехать. Срочно.

— Ты спятил, — всю расслабленность и незлобивую сварливость, столь свойственную людям, когда их беспокоят поутру, с него смело. — Что ты несешь? Риббентроп прилетает.

— Я успею, — сказал я.

Слева до самого берега тянулись пойменные луга, уютно горя яркой зеленью, по которой так и тянуло порскнуть босиком, а за светлым зеркалом реки синей заманчивой полосой стоял, обещая грибов, лес. Справа впереди уже проросли из ровного поля косо торчащие в небо фермы обвалившегося корпуса, и по мере того, как норовистая «эмка» скакала по проселку, они раздвигались вширь и вздымались к безмятежному небосводу все выше, точно никак не желающий утомониться обугленный труп

тянул скрюченные пальцы, мечтая напоследок выдрать из живой синевы слепящие стога облаков и неутомимые серпики птиц.

— Любит вас товарищ Сталин, — сказал начальник полигона. Это должно было прозвучать добродушно, но сквозь добродушные прозвучали нотки неосознаваемой, непроизвольной зависти. — Ох, любит!

— Товарищ Сталин не меня любит, — честно ответил я. — Он со мной спорить любит. Это разные вещи.

— Нам тут кремлевские тонкости до лампочки, — сказал начальник полигона. — Это все ваши дела. Я знаю одно: чтобы вот так вдруг оказывать, как в приказе сказано, всяческое содействие...

— Все очень просто, — сказал я. — Мне скрывать нечего, и темнить я тоже не собираюсь. Мой сын служил с Некрыловым. Когда тот совершил проступок, ручался за него. И теперь сам не свой, себя винит. Думает, всему виной некрыловская халатность. Да и у самого неприятности не исключены, допрашивали уже. Мол, почему вы за него поручились, как давно вы его знаете, что он вам за поручительство сулил...

— Вот оно что, — помедлив с открытым ртом, пробормотал начальник полигона. — То-то я отметил себе: фамилия у вас знакомая. Думал — однофамильцы.

— Сынище мной никогда не козыряет, — сказал я. — Да и я им. Хотя мне им, во всяком случае, уже пора. Девять сбитых над Халхин-Голом.

Начальник полигона показал мне большой палец, а потом сказал:

— Яблочко от яблоньки.

— Наверное.

— Тогда понимаю. Однако вряд ли смогу помочь. Мы до очага возгорания-то только пару часов назад докопались.

Машина остановилась у большой, кипящей цветами клумбы, по ту сторону которой красовался уютный административный корпусок. Чье-то бывшее имение, не иначе — светло-желтые стены, белые колонны, треугольный фронтон и бельведер, приспособленный, похоже, под командно-диспетчерскую вышку... Мы наконец покинули кабину. Разминая ноги, обошли вокруг клумбы, здание управления сдвинулось в сторону, и за ним вдали открылось пожарище. Ветер душил запахом гари. Точно целый мир сгорел.

— Обидно, — проронил начальник полигона. — Я сам чуть в петлю не полез. И, между нами говоря, еще неизвестно, не засунут ли меня туда доблестные органы. Полгода готовились, новое оборудование гоняли на всех режимах, газгольдеры, насосы... Ткань перебрали, прощупали вручную чуть ли не каждый сантиметр — не пересохла ли. Это ж крайняя тренировка была. На среду предварительно уже наметили действительный подъем. Может, я еще застрелюсь. Seriously. Вот дождусь хотя бы первых результатов расследования и застрелюсь. Я ж всю душу вложил.

Я помолчал, а потом сказал:

— Если те, кто душу вкладывает, перестреляются, кто работать-то станет?

Он невесело засмеялся. Покачал головой, потом сказал:

— И то верно. Вот же... Я слышал, у буржуев такая профессия есть — психотерапевт. Вам бы, я гляжу, туда!

— Мне и тут есть чем заняться. Не хватало еще буржуям муки их совести поганой облегчать. Пусть их покрючит.

Возгорание произошло непосредственно в испытательной камере, и по понятным причинам уже через несколько минут полыхало так, что сделать, в сущности, ничего было нельзя. Погибло в бешеном химическом пламени и взрывах газгольдеров

пять человек, в том числе оба отработывавших экстремальные перепады давления стратонавта.

И вся вина Некрылова, вся, заключалась только в том, что он, согласно графику дежурств и вдобавок старший по званию, именно в день несчастья отвечал за противопожарную безопасность. Реально ли он не досмотрел чего, или случилась роковая случайность из тех, что предусмотреть нельзя: закоротило, искрануло, клапан потек, вентиль дефектный, прокладка потеряла эластичность... да шут ее знает, эту новую технику, где, когда и в чем бес попутает. Неизвестно. И даже если через месяц кропотливой работы или через два доведется выяснить, что вот именно из этой муфты в мир изошла трагедия, или вот от этой копеечной резинки размером с обручальное кольцо, или вот от этой медной волосинки, то и тогда, скорее всего, нельзя будет наверняка сказать, мог ли ответственный за безопасность, осуществляя штатную проверку и текущий осмотр, заметить неполадку и предотвратить сбой, или дефект был настолько незаметен, настолько внезапен, что даже самый добросовестный и дотошный человек не в силах был отвести огненную гибель.

Конечно, на то и назначаются ответственные, чтобы приглядывать за всем и, случись что, отвечать. Тут спору нет. Если назначать ответственных и не спрашивать в первую очередь с них, такие назначения превратятся в фарс, а то и в синекуру, а всерьез никто ни за чем приглядывать не станет. Иван кивает на Петра, нам ли не знать. Но по факту Некрылов за все уже ответил. Черные рассыпающиеся кости обоих стратонавтов лежали под обломками вперемешку, и даже понять, какие из них чьи, было невозможно.

Пять часов я просматривал то копии старых рекламаций, то протоколы бывших проверок, то наспех, курица лапой, набросанные текущие отчеты, что успевали подойти от бьющихся среди обгорелых руин спасателей и дознавателей. Доводил их до бешенства, приставая с расспросами, когда они хоть на полчаса отползали с погорелья, чтобы отдышаться, выпить воды и распрямить спину кто на мягком диване в вестибюле, кто просто на траве — потные, пропахшие горькой гарью, с воспаленными красными глазами, полными отчаяния, насмотревшимися на такое, что и на войне не всяк день увидишь... И понял — нет. Никогда люди не смогут узнать доподлинно, есть ли виноватые.

Ни обвинения, ни оправдания. Никогда.

На прощание мы обменялись с начальником полигона крепким рукопожатием. Солнце уже касалось горизонта. Как в детстве, оно садилось за лес. Картошка выкопана, ботва сметена в стожок — и сожжена. Сожжена. Вот такая теперь наша ботва.

— Спасибо вам.

— Да не за что. Привет Москве.

Он помолчал и фатовато спросил:

— Так не стреляться, говорите?

— Я бы подождал, — приняв его ернический тон, ответил я. Пожалуй, он единственно сейчас подходил, а то пришлось бы впасть в пафос, ненавистный всем дельным людям.

Начальник полигона глубоко вздохнул. Запрокинул голову так, что едва не потерял фуражку; в последний момент поймал ее на затылке, с минуту смотрел в предвечернее небо. В прозрачную зовущую глубину, которой было еще так невообразимо много над летающими высоко-высоко стрижами. Потом сказал с болью:

— Прощай.

— Стратосфера никуда не денется, — поняв, сказал я.

— А мы?

Я в ответ только сжал его локоть.

— Думали до войны успеть, — негромко признался он. Помолчал. — А теперь не знаю...

Долго мы смотрели в небо оба. Каждый видел свое.

Домой я вернулся около десяти вечера во вторник. Успел.

Сережка к этому времени уже проспался и протрезвел, но ему все еще было нехорошо. После алкогольного удара всегда тоска, а тут еще и впрямь тоска. Когда я вошел к нему, он лежал в майке и трусах на кровати, закинув за голову руки, и смотрел в потолок. На звук открываемой двери он лишь слегка повернул голову.

— Привет, пап, — негромко сказал он.

— Привет, сын. Живой?

— Пациент скорее жив, чем мертв. Мама за тебя тут волновалась.

— Успел, как видишь.

— Ну и что там?

— Там... Вот что там.

Я присел на край его постели.

— Никто и никогда не сможет теперь сказать точно и определенно, виноват Вадим или нет. Запомни. Ты за него поручился, но ты никогда не будешь знать, прав ты был или нет. И теперь тебе с этим жить.

Он не ответил, но у него задрожали губы.

— Но ты ведь сталинский сокол, а не фашистский ас. А знаешь, чем отличается сталинский сокол от фашистского бубнового аса? Не мастерством, нет. Мастерами и они быть умеют. Еще какими. И не любовью к семье. Семью они еще как могут любить, порой крепче нашего. Но фашистскому асу, чтобы спасти незнакомого человека, надо знать, что тому уже череп циркулем измерили и просчитали челюстной угол и что они там еще делают — все сделали и сказали: ариец. Тогда ас скажет: йа, йа, ви есть под моя защита. А сталинский сокол, если видит человека в беде, защищает его, не спрашивая. Ничего о нем не зная. Достаточно того, что тот в беде. Большевик, меньшевик, красный, белый, ариец, не ариец, виноват он в своей жизни в чем-то или не виноват... Человек. Человек, о котором могут подумать хуже, чем он, возможно, был, — это тоже человек в беде. Перестань гадать, виноват Некрылов или нет. Бери его под свое крыло, сокол. Навсегда.

Он глубоко вздохнул, и я понял, что, пока я говорил, он не дышал.

И настала ночь. И настало утро.

Вот о чем я не хочу вспоминать, о чем категорически не собираюсь рассказывать, так это о переговорах. Формально — потому что и ни к чему, об этом уже столько написано, что черт ногу сломит, читать не перечитать. А по сути — потому, что даже теперь мне об этом вспоминать просто тошно. Просто тошно. Сколько можно было биться головой в стену? То есть сколько надо, столько и можно, и мы бились бы и дальше хоть месяц, хоть год, но не то что года, а и месяца у нас впереди не было, потому что просвещенные европейцы с промеренными черепами уже прогревали моторы.

Риббентроп со свитой еще утром приземлились в Москве и ждали, раздражаясь все пуще, но смиренно терпя, а мы по-прежнему глубокомысленно витийствовали с Драксом и Думенком. Это было как издевательство. Хотя почему, собственно, «как»? Когда английский адмирал на пятый, что ли, день таких долгожданных, так мучительно доставшихся переговоров вдруг сообщил, что у него нет полномочий на заключение вообще каких-либо договоренностей, но если мы все теперь переедем обратно в Лондон, то он их вскоре легко получит, оставалось только смеяться.

И нынче, после перерыва, демократы вновь так и не смогли похвастаться ни документальными подтверждениями своих прерогатив, ни хотя бы черновыми планами

реального военного взаимодействия, ни тем, что уж на худой-то конец уговорили гордых шляхтичей позволить нашей славной троице их спасти.

Оставались даже не недели — считанные дни до первых бомб, до первых оторванных детских рук и ног, до первых женщин, раздавленных стенами своих же любовно обставленных гнездышек, до Гляйвица, до Вестерплатте, а эти... И, главное, были уверены, что все козыри у них на руках, и чем дольше мы будем просиживать штаны, тем для мира лучше. Хотелось отбросить политесы за их уже явной ненужностью и попросту спросить, глядя в глаза: вы хоть понимаете, что творите? Но даже это, я прекрасно понимал, их бы не пробило. Только пожмут плечами своих блестящих, вычурных мундиров, смотревшихся рядом с простецкой формой Клима, как елочные игрушки рядом с рабочим мастерком, да брови поднимут: йес, уи, мы ищем взаимоприемлемые развязки весьма сложных и щекотливых международных... И потом — еще полчаса говорильни. А рожи самодовольные, упоенные своей неуязвимостью и заведомым, априорным превосходством: я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней...

В середине дня Коба собрал нас на короткое совещание. Пора было что-то решать.

— Клим?

— Глухо, Коба, — с необычной для себя резкостью ответил Клим. Его буквально трясло от бешенства. — Глухо. Это кастраты. Они не то что воевать — они на Гитлера голос повысить и то не посмеют. Языками почесать приплыли.

— Вячеслав Михайлович?

Слава некоторое время только сопел. Видимо, подбирал формулировки помягче. Потом заговорил.

— Англичане и французы, в сущности, заталкивают нас в союзники к Гитлеру, — сказал он. — И я не исключаю, что не без дальнего прицела. Когда перед ними окажется союз двух враждебных им государств, они с чистой совестью начнут с нас. Например, с бомбардировок Баку и Грозного, чтобы лишить нас нефти с перспективой оккупировать Кавказ. И скажут: это мы с Гитлером так боремся, чтоб его танки встали и самолеты попадали.

— О военном союзе с Германским рейхом речи не идет, — сдержанно напомнил Коба. — Только ненападение и наш нейтралитет. Все.

— С них станется любой наш договор задним числом назвать военным и потом действовать соответственно.

— Ну, это все эмоции. Домыслы, — Коба помолчал. Он даже не курил сегодня, и это как нельзя лучше показывало, что и он, в общении с демократами непосредственно не участвовавший, тоже кипит. — Как ты оцениваешь перспективы продолжения переговоров?

— Никак. У них установка на пустое затягивание, это уже очевидно. Как ни трудно в это поверить, какой бы дикой с нашей точки зрения такая установка ни казалась — она есть. Уже ручаюсь. А поляки... — он умолк. Похоже, просто не находил слов. Посопел, потом развел руками. — На проблеме прохода к германской границе через свою территорию их просто заклинило. А если такого прохода не будет, все договоры бесполезны. В случае конфликта нас же и обвинят, что мы не выполняем союзных обязательств. И демократам плевать будет, что нам к немцам просто не подойти.

— Анастас?

Тот тоже ответил не сразу, то ли собираясь с мыслями, то ли пытаясь сформулировать их как можно более обтекаемо.

— В смысле развития нашей промышленности, повышения обороноспособности, ускорения технологической модернизации... — начал он, как по писаному, но

потом запнулся. Укусил себя за верхнюю губу. И наконец решился: — Немецкие предложения представляются достаточно приемлемыми.

Коба посмотрел на меня.

Я молчал.

И он молчал. А раз он молчал, то и все молчали.

Он смотрел, не мигая.

Я досчитал до десяти.

— Есть лишь один способ сделать возникновение нашего военного союза с Францией и Англией против Германии неизбежным, — сказал я. — Автоматическим.

И замолк. Мне казалось, я уже сказал достаточно. Любой сообразит, о чем речь, а мне не хотелось говорить дальше. Язык присыхал к нёбу. Или к глотке. Кто его разберет, куда он присыхает.

— Какой же? — с подчеркнутой заинтересованностью спросил Коба, словно бы совсем не догадываясь, о чем я. Придуривался, конечно. Я был уверен: уж он-то понимал меня с полуслова.

Я долго не отвечал. А потом вдруг увидел себя со стороны. Как троечник на экзамене, подумал я. Каждое слово — клещами...

— Использовать факт того, что Англия посулила гарантии Польше, — сказал я.

Было так тихо, что казалось, если еще чуток напрячь слух, можно услышать, как бьет в Лондоне Биг-Бен, отрубая последние часы буколической жизни старой доброй Англии. Великой колониальной империи, владычицы морей.

Если хочешь что-то продлить в неизменности навсегда — потеряешь непременно и страшно. И уж воистину навсегда.

— Поконкретнее, пожалуйста, — сказал Коба.

Я понял: он от меня не отстанет. Он хотел, чтобы я назвал все своими именами. Наверное, думал, что этим, как настоящий друг, помогает мне преодолеть то, что он считал пусть простительной, но все же слабостью. Простить-то, мол, можно, семья — это святое, но изживать — пора.

Ну что ж...

— Если мы заключаем пакт с немцами, Гитлер с высокой степенью вероятности нападает на Польшу, — ни на кого не глядя, бесстрастно начал я. — Если не нападает, то и прекрасно. Мы получаем немецкие технологии и кредиты, немцы — наше сырье. Но если нападает, Англия и Франция из страха окончательно потерять лицо и расстаться со статусами великих держав объявят войну Германии. Как они станут воевать — это уж другой вопрос, это не наше дело, но, во всяком случае, станут. Если Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией, а Германия нападает на СССР — тогда Англия, Франция и СССР автоматически оказываются по одну сторону фронта. Союз, какого мы добивались в течение двух лет, возникает сам собой. И даже если наши хитроумные западные партнеры попытаются от реального взаимодействия увильнуть, все равно мы вступим в войну, как минимум, не имея их на стороне Гитлера. Что, если вспомнить их маневры последних лет, уже немало. А как максимум — имея союзниками. Против их воли, разумеется, но в состоянии войны отвернуться они не смогут.

Некоторое время Коба бессмысленно шарил по карманам в поисках трубки. Потом нащупал, даже покрутил в пальцах, но вынимать не стал и осведомился:

— Есть другие мнения, товарищи?

— А как же Польша? — неловко спросил Анастас.

Коба резко обернулся к нему. Его усы неприязненно шевелились.

— Вот я прям щас зарыдаю, — сказал он. Помолчал. — Ответь, дорогой. Руководитель Советского Союза при конфликте интересов двух стран, одной из которых являет-

ся Советский Союз, чьи интересы должен предпочесть? Той страны, за которую он отвечает, или той, которая только и знала, что вредила стране, за которую он отвечает?

Анастас с мгновенно запыхавшим лицом опустил голову и уткнулся взглядом в сукно стола.

И тут я вдруг словно услышал голос Маши: вы спасете Польшу?

— Надо еще отметить, — в полной тишине сказал я, — что это единственный шанс без войны спасти от немцев хотя бы ту часть Польши, которая не против того, чтобы ее спасли. Ту, где Варшава вынуждена то и дело предпринимать карательные акции. Там нас многие ждут. В конце концов, даже по плану Керзона эти территории должны были отойти нам.

— Гарное предложение, — вдруг подал голос Никита. И добавил мечтательно: — Подрастим Украину. Республиканскую столицу в Киев перенесем... А может, и союзную, товарищ Сталин? А? Все ж таки мать городов русских.

— Думаю, — с отеческой симпатией глядя на Никиту, мягко сказал Коба, — у нас будет довольно много более срочных дел.

Он помолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли выжидая, не предложит ли кто чуда.

— Что ж, — для очистки совести он еще раз обвел нас взглядом. — Есть еще какие-то мнения? Предложения? Замечания? Возражения? Не стесняйтесь, товарищи. Надо принимать решение.

Ответом ему была тишина.

— Тогда, — сказал Коба, — так и поступим.

Буднично сказал, запросто. Слово выбрал удочку, с какой пойдет на зорьке по плотву.

Если англичане и французы двигались, как вареные, и вообще напоминали лениво болтающиеся в остывшем бульоне клецки, то Риббентроп со своей бандой влетел, как гоночный «феррари» в коровник.

Он сверкал запонками и зубами, чеканил шаг и речь, льстил, расточал, обещал и заверял. У Риббентропа счет шел на часы. Вернуться в Берлин с пустыми руками он не мог. Ни по личным соображениям — фюрер бы с него три шкуры снял, ни в виду ближайшего будущего, уже бесповоротно подставленного «юнкерсам» и «хейнкелям». А мы...

Дипломатия дипломатией, но когда мы оказались с полномочными эмиссарами рейха под одним потолком, внутри одних стен, мне стало чудиться, будто мы в чумном бараке. Хотелось дышать пореже и помельче, а лучше бы вообще не впускать воздух в легкие. Не ровен час, подхватишь.

И, похоже, такое чувство было не у меня одного, потому что даже стальной Коба под конец сорвался. Подписи уже были поставлены, когда на суетливом импровизированном банкете он, поднимая бокал, вроде бы с обычной своей неторопливостью и невозмутимостью сказал: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера, и поэтому хочу выпить за его здоровье». Ах, красавца, с невольным восхищением подумал я. Сумел найти формулировку и не вызывая хамскую, и вполне однозначную. Если перевести с дипломатического на человеческий, она значила вот что: лично я с вашим фюрером в одном поле и гадить не сел бы, но поскольку вы его демократически выбрали и по сию пору обожаете, то получите и распишитесь. И Риббентроп это понял. И ничего не мог поделать: с протокольной точки зрения фраза была безупречно корректной, да еще с уважительным упоминанием того самого дас дойче фолк, именем которого и сам фюрер оправдывал все. Рейхсминистр, конечно, не подал виду, он дежурно цвел победным цветом, вылаивал комплименты, совал свою пятерню туда-сюда для страстных рукопожатий, но я был уверен: он запомнит. И припомнит. Если мы дадим ему такой шанс.

А вот с Шуленбургом я взглядами так и не смог встретиться. Он был как механический. Говорил — точно заводной будильник трезвонил. Завод кончался — умолкал. И явственно избегал меня. Даже он не верил своему министру. Что уж было говорить о нас.

Когда все завершилось, мы не смогли разойтись.

Невмоготу было остаться в одиночестве, наедине с мыслями, с совестью глаза в глаза. Не сговариваясь, потянулись снова к Кобе в кабинет. Он не возражал. Хотелось прополоскать руки и души с хлоркой.

Ну, руки — это уж кто как сумеет, а вот для душ у мужчин существует лишь одна достойная хлорка. Не валерьянку же глотать.

Выпили киндзмараули. Выпили хванчкары. Не брало. Коба пошептался о чем-то с Анастасом, и вскоре принесли несколько бутылок армянского коньяку. Разлили; наскоро подышав изысканным ароматом, заглотили. Непроницаемые тяжкие гардины на окнах мало-помалу стали наливать тревожным оранжевым светом, словно по ту сторону разгорался не новый августовский день, а пожар.

Мы почти не разговаривали. Наговорились досыта, и, собственно, все уже было сказано. Говорить стало не о чем, оставалось лишь переварить произошедшее и, надрываясь, тянуть ляжку дальше. Тактичный и преданный ритуалам Анастас попробовал предложить тост за мир во всем мире, но Коба, благодарно положив ладонь на его руку, отрицательно покачал головой. Не то. Какой уж тут мир; чай, не дети. По первости незаметно, исподволь находя лазейки и щелочки в выросшей за годы и годы броне, коньяк все же начал просачиваться к сердцам; Коба пригорюнился и подпер щеку ладонью, смешно скособочив усы и щеку. Было тихо и глухо, а снаружи, из-за кремлевской стены, с пробуждающейся площади начали время от времени безмятежно и бодро поквакивать клаксоны ранних машин. Утро красило нежным светом — там. А мы — тут. Жуть как хотелось туда. И вдруг Коба облизнул пересохшие слипшиеся губы и, не снимая подбородка с руки, трясущимся голосом затянул:

Первый тайм мы уже отыграли...

Это было так жутко, что у меня волосы встали дыбом.

Все оторопели. Коба сидел напротив меня, и я видел: у него мокрые глаза. В первые секунды никто не нашелся, а может — не решился подхватить, и некоторое время он так и дребезжал в полном одиночестве, точно вытягивал со скрипучего барабана сквозь душные сумерки огромного кабинета светлую хлипкую проволоку канатоловца, вот-вот готовую лопнуть:

И одно лишь сумели понять...

Клим приосанился и храбро вступил надтреснутым баском, точно подросток, у которого ломается голос:

Ничто на земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же бессмертна...

Пятерня его сама собой шевельнулась у бедра в смутном поиске шашки, которой, как думалось когда-то, вполне хватит, чтобы установить лучезарную справедливость навсегда.

Рядом со мной Лаврентий мелко встряхнулся, словно вдруг озябнув, и с продирающей до костей тоской тоненько, застенчиво признался нараспев:

Как молоды мы были,
Как искреннэ любили,
Как вэрили в сэба...

Я рывком обернулся к нему. Он смотрел в никуда, и мне казалось, в его остановившихся глазах, точно в запущенной рапидом кинохронике несбывшегося, лихорадочно скачут величавые дворцы культуры, светлые корпуса пионерских лагерей, утопающие в кипарисах, просторные НИИ — все, что он, доведись ему стать, как смолоду мечталось, архитектором, строил бы, строил и строил.

Чуть громче, чем было бы уместно, молодым бычком заголосил со своего края Никита:

Мы друзей за ошибки прощали,
Лишь измены простить не могли...

Это было уже слишком.

И опять же, видимо, не один я это почувствовал, потому что Анастас вполголо-са принялся с невинным видом подстилать кавказский ритм:

— Там-тибитам-тибитам-тибитам...

— Ча-ча-ча, — прикончил я.

Стало тихо. Коба посмотрел на меня, потом на Анастаса, потом снова на меня своими всегда будто неживыми, будто выточенными из янтаря желтыми глазами, что сей-час были полны слез, беспомощно встопорщил усы и сказал:

— Уроды вы. Ничего святого у вас не осталось.

Бедная дурочка

В тот последний вечер к нам робко позвонили.

Я поднял голову. Даже представить было трудно, кто мог так звонить. Тронули звонок и отдернулись, точно обожглись.

— Работай! — крикнула Маша из прихожей. — Я посмотрю, кого принесло.

Я снова уткнулся в бумаги, но через несколько мгновений почуял неладное.

И точно.

В дверях кабинета, выпрямившись напряженно и неестественно, словно от боли, с каменным лицом стояла Маша.

— Это тебя, — чужим ровным голосом сказала она.

Я с досадой поднялся. Я и подумать не мог, что это пришла судьба; что, как я ни юлил, она настигла меня в собственном доме.

В прихожей, на коврик у лестничной двери, не решаясь, видимо, сделать дальше хоть шаг, неловко озиравась Надя. Она была одета, как в турпоход выходного дня: синие американские брюки в облив, курточка, в расстегнутом вороте которой виднелся свитер, в руке — сумочка, за плечами — довольно объемистый, непонятно зачем нужный рюкзак. Ее лицо было пунцовым. Увидев меня, она несмело улыбнулась и даже чуть развела руками: мол, вот я, а вы, наверное, решили, будто это что-то важное?

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуй, Надя, — ответил я, силясь понять, не стал ли я пунцовым ей в тон. Судя по тому, как мне сделалось жарко, стал. Сзади на нас смотрела Маша.

— Заходи, Наденька, — с механическим радушием сказала она. — Хочешь чаю? Мы как раз собирались пить.

Это была, конечно, ложь.

— Спасибо, Мария Григорьевна, — торопливо ответила Надя. — Не надо. Я на минутку. Простите, если помешала... Я только хотела показать вашему мужу одну вещь.

— Интересно, — сказала Маша. — Что ж ты такое ему можешь показать, чего он еще не видел.

Это казалось совершенно невозможным, но Надя покраснела еще пуще. Стала буряк буряком. Она шевельнула губами — видимо, хотела что-то ответить, но так и не придумала что. Глаза у нее стали жалобные и беспомощные. Как у дитяти. Отшлепали ни за что.

— Ладно, — сказала Маша, уже не скрывая враждебности. Прошла в комнату сына и, прежде чем плотно закрыть за собой дверь, проговорила: — Все. Меня нет. Делайте что хотите.

Мы перевели дух, а потом перешли в гостиную; в ту самую, куда Сережка привел ее в первый вечер пить чай, и мне ударила в голову блажь прикрывать ее от бомб. Прикрыл? Нет? Прикрыл, но ненадолго? Я не знал.

Она, не снимая ни куртки, ни рюкзака, неловко села на краешек дивана.

— Я не помешала? — настойчиво спросила она.

— Хватит, Надя. Давай к делу.

Тогда она щелкнула замочком сумки и вынула сложенный пополам лист бумаги. Развернула и подала мне. В ее вытянутой тонкой руке лист трясся так, будто по нему барабанил дождь.

— Мама время от времени прокладывает полки на кухне чистыми листами. Или вот мне поручает. Чтобы на самих полках не оставалось следов от посуды. А для экономии мы используем папины черновики... С обратной-то стороны они чистые. И вот... Он, наверное, случайно не уничтожил.

На листе хорошей машинописной бумаги, посреди страницы, было от руки написано каллиграфическим почерком: «Кроме того, А. Ф. Иоффе окружил себя теми молодыми выскочками и барчуками от науки, что не могут похвастаться ни высокими индексами цитируемости, ни надлежащими показателями результативности, но единственно лишь либо местечковым, либо рабоче-крестьянским происхождением. Он стравливает их друг с другом, объясняя это тем, что обеспечивает здоровое творческое социалистическое соревнование. На деле же это ведет к развитию сионистских настроений среди одних и настроений великорусского шовинизма среди других».

Всю фразу охватывала аккуратно нарисованная фигурная скобка со стрелкой, указующей вправо, видимо, на отсутствующую страницу с основным текстом. Судя по всему, это была вставка, дополнение, сочиненное при редактировании черновика.

Чувствовалось: автор работал академично, невозмутимо, вдумчиво. Будто научный труд писал.

— Это донос? — просто спросила Надя.

Я досчитал до десяти и спокойно, ей в тон, ответил:

— Это донос.

— Я так сразу и поняла. Но все же спросила папу. Знаете... Вот не могла поверить и спросила прямо, и он мне ответил тоже прямо. Он даже не смутился. Знаете, что он мне ответил?

— Нет, — сказал я сквозь ком в горле. — Не знаю.

— Он сказал, что раз уж нам выпало жить в преступном государстве, мы-то ведь это государство не создавали, мы не имеем к нему отношения и потому имеем

полное право использовать наиболее эффективные его механизмы себе на пользу. Не наша вина в том, что здесь именно такие механизмы. И нам совершенно не зазорно ими пользоваться.

— Очень умно, — проговорил я.

— Вы же наверняка где-то бываете там, наверху, — сказала она. — И при этом вы лучше всех, кого я знаю. Сережка... Он защитник. Он самый смелый, самый славный и самый смешной. Но вы выше и добрее всех, это точно. Я хочу узнать у вас. Я не могу понять. У нас правда преступное государство?

Я помедлил. Она смотрела мне в глаза и ждала.

— Понимаешь, Надя... Из любой, какую ни возьми, государственной машины торчит много-много рычажков. Чтобы каждый человек мог чуть-чуть да управлять. Одни рычажки можно нажать только полной подлостью. Другие — только полной порядочностью. А третьи, их больше всего, отзываются лишь на сочетания подлости и порядочности. В разных пропорциях. Полной гарантии того, что машина тебя послушается, не дает ни один рычаг. Поэтому какой из них жать, когда тебе чего-то хочется, — это твой личный выбор. Только твой.

Надя смотрела мне в лицо. Ее глаза завораживали. Она ждала чуда. А может, просто любви. Но это и есть самое большое чудо, наверное. Мне хотелось заплакать.

— Я ушла из дома и мечтаю жить у вас, — сказала она. — Пустите?

Я едва не ахнул в голос, по-бабьи.

— Надя...

— Я так намучилась за эти месяцы, — призналась она. — Просто ужас. С Сереженькой мне легко, весело, я будто дышу, и все. Мы как два сапога пара. Как два конца одного шнурка. До него я даже не знала, что так бывает. Я все время хочу его видеть, с ним балагурить, смеяться, бегать куда-нибудь. Даже когда мы спорим и не соглашаемся, это радостно. Дескать, ну да, я думаю иначе, но если он в это верит, это ведь тоже мое. И жизнь будто становится вдвое шире. А... а на вас я гляжу, как на какой-то Эверест.

Где-то я недавно уже слышал про Эверест. Или сам говорил... Нет, не вспомнить сейчас. Не до того.

— Я готова хоть жизнью рискнуть, чтобы на этот Эверест забраться. Мне все время хочется для вас совершить какой-нибудь подвиг. Но сейчас не война, не голод... Я не могу вытащить вас из-под обстрела, не могу отдать вам последний кусок хлеба. Я не могу придумать другого подвига, кроме как стать вам... кем вы захотите. Я уже ничего не понимаю. Скажите вы мне. Скажите хоть вы. Кого я больше люблю: вас или Сережку?

Стройная, нежная, голая и молодая...

— Конечно, Сережку, — сказал я и улыбнулся. — Поверь, тут двух мнений быть не может.

Она сразу встала. Нервно затянула зачем-то молнию куртки до самой шеи.

— Его сейчас нет дома? — спросила она.

— Он в Опалихе, на даче, — сказал я. — Долечивается после ранения и переживает. Поправляет нервы осенними яблоками. Сейчас уже ничего. С ним такая история приключилась...

— Я знаю, — сказала она. — Это-то я знаю.

— Откуда?

— Вся сеть гудит, — ответила она и пошла к двери. Я суетливо вскочил проводить. У лестничной двери она вдруг вновь повернулась ко мне. — Надо его спасать, — сказала она и улыбнулась дрожащими губами. — Я как подумаю, что он грустный, так хоть на стенку лезь. Буду вам, значит, вроде дочки. Растолкуйте, как найти.

Я растолковал.

Когда снаружи уплывающей белугой завыл лифт, я прижался к закрывшейся лестничной двери лбом и некоторое время стоял так, думая только: всё. Всё. Всё. Потом оказалось, я шепчу это вслух.

— Всё, всё, — передразнила Маша, выходя. — Мастера трагедий. Девчонка влюблена в тебя по уши. А ты в нее. Какого лешего ты ее отпустил?

Я медленно повернулся и подошел к ней.

— Ведь ты же разлюбил меня. Я знаю.

— Нет.

— Да.

— Нет.

— Да. Быть таким благородным просто подло. Она бы тебе хоть сейчас дала.

— Ты с ума сошла.

— Я бы не помешала, клянусь. Я же рядом с ней — толстая некрасивая старуха. Скажи, почему ты ее отпустил?

Казалось, этот бессмысленный допрос доставлял ей наслаждение. Точно следователю-садисту. Я даже не мог понять, кого она этим больше мучила, кого ей больше хотелось унижить и растоптать — меня или себя.

— Потому что мы вместе много-много лет, — ответил я. — Потому что мы семья. Потому что сердце не терпит оставить тебя одну. Наедине со всем этим кошмаром. Потому что мы спасали друг друга сто раз. Потому что мы прошли через сто адов, и остались людьми, и вырастили замечательного сына. Потому что наш сын ее любит. Потому что у меня к тебе нежность, как к собственному ребенку. Разве этого мало?

— Мало! — отчаянно крикнула она. — Мало! Это все слова! Они ничего не значат, когда одна любовь уходит и приходит другая!

Наверное, она действительно так думала.

Я понял, что ничего не смогу объяснить. И если буду ее и дальше слушать, то через полчаса и сам себе не сумею растолковать, какого рожна, в самом деле, отказался от манящего простора впереди.

Оставалось смеяться.

— Ну, — улыбнулся я, — я же русский, а мы, как известно, прирожденные рабы. Не понимаем, зачем свобода...

Я еще не договорил, а уже успел увидеть, что шутка не удалась. Наоборот. Ее глаза наконец-то полыхнули сухим гневом, а побелевшие губы затряслись. То, что русские — рабы, было для нее столь непреложной истиной, что она вовсе не почувствовала шутки. И поняла меня так: я бы давно от тебя ушел, если б у меня хватило духу. Хотя я сказал совсем не это, а то, что сказал: мне не нужна свобода, состоящая в предательстве. Это ведь и будет лишь предательство, а не свобода.

— Лучше бы ты мне изменил, — ответила она негромко, с ледяной яростью. — По крайней мере, мне было бы за что тебя ненавидеть.

Мне стало так жутко, что пересохло в горле.

Самая страшная, самая неутолимая ненависть — это ненависть ни за что, ненависть за все. Ненависть оттого, что думаешь, будто к тебе снисходят. Оттого, что не можешь ответить смирением на смирение, великодушием на великодушие, преданностью на преданность и породненностью на породненность; а тот, кто все это каким-то непонятным образом с легкостью может, маячит рядом и вовсе не манит как пример, а жжет, точно непрестанный укор, неутомимое напоминание, нескончаемая издевка судьбы: не можешь! не можешь! я могу, а ты не можешь!

От такой ненависти нет лечения и нет спасения.

Наверное, если бы я и впрямь распластал на нашем диване эту красивую, нежную, голую и молодую и жена слышала бы из-за стенки ее самозабвенные вскрики

боли и счастья и мой самодовольный клекот насыщающегося самца — она не так ненавидела бы меня, как сейчас. Тогда мы, наверное, могли бы еще помириться. Дело, мол, житейское. Теперь — никогда.

Я сказал:

— Маша, я очень устал и пошел спать.

Удивительно, что, поворочавшись с полчаса, я действительно сумел забыться.

Я проснулся, словно опять услышал остановившуюся под окнами ночную машину.

Нет.

Потолок не разрезала световая полоса.

Беззвучно спал лифт.

Маша сидела на краю кровати и неподвижными глазами смотрела мне в лицо, обеими руками держа наган. Тот самый. Тот, которым наградил меня когда-то тесть за мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата. Черный глазок, не дрожа, смотрел мне в грудь. Через открытую дверь спальни то ли из телевизора, то ли из черной тарелки репродуктора с кухни доносился монотонный голос Славы:

— ...От советского правительства нельзя требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Ввиду всего этого правительство СССР заявляет, что сегодня отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Советское правительство заявляет также, что одновременно оно намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью...

Слава читал заявление, текст которого мы согласовали позавчера на Политбюро.

— Я знала, — шепотом сказала Маша. — Я всегда знала. Вы только и ждали момента, чтобы опять поработить Польшу. Вы всегда ее ненавидели. А ты... ты... был большевик, а стал... держиморда. Мы же все под «Варшавянку» от казаков на баррикадах отстреливались! Колонизатор.

Она умолкла. Она ждала, конечно, что я попытаюсь ответить. Объяснить, оправдаться, соврать. На кого-то свалить. Я молчал.

Я вдруг понял, что мне надоело.

— Все эти годы, — сказала она уже громче, в полный голос, — вы только и мечтали погубить маленькую прекрасную страну, которая сделала вам столько добра. А теперь улучили день, когда она оказалась совсем беззащитна, совсем одна-одинешенька, и на пару с этим упырем накинулись с двух сторон. Мрази. Подонки. Как ты мог. Предатель.

Я молчал.

— Предатель!!! — крикнула она что было сил. И все равно еще не могла решиться.

Я молчал.

— Это ты придумал? Ну скажи! Ты? Ни у кого, кроме тебя, ума бы не хватило на такую подлость! Они еще, видите ли, и спасают!! Подумать только! Знаю я, как вы спасаете!! Кто вас звал нас спасать?!

«Вас» и «нас», отметил я и чуть не спросил: а как спасаете вы? Но слова застряли. Это было бы невыносимо, омерзительно пафосно. Претенциозно до рвоты, до желчной горечи в рту. Однако что-то, наверно, мелькнуло у меня во взгляде — может быть, даже более хлесткое, чего я и в слова облечь не успел, потому что она,

уловив и поняв этот промельк, цепко сощурилась, по-прежнему глядя мне в глаза, стиснула зубы так, что вздулись скулы, и наконец выстрелила.

Боли не было, только сильный толчок. Да не такой уж и сильный; так нередко толкают в метро на выходе или посадке. Я скосил глаза вниз, чтобы посмотреть, много ли крови; оказалось — совсем мало, и я еще успел порадоваться, что уж от кровопотери-то, по крайней мере, не отчаю. Но тут сообразил, что вижу себя всего, с лицом. С всклоченной со сна шевелюрой цвета мышиной шерсти, с приоткрытым неподвижным ртом и стеклянными глазами, нелепо и, пожалуй, даже потешно вылупленными в потолок. И порохом совсем не пахло. Наоборот, ни с того ни с сего налетели и волнами закружились, как в хороводе, самые сладкие, самые добрые ароматы, какие только помнила душа: точно прямо тут принялось расцветать росистое утро сплошного, колечком свившегося лета, когда навстречу солнцу, на радость людям и пчелам, наперегонки распахиваются и яблони, и сливы, и вишни, и шиповник, и сирень, и мята, и цветущая картошка. Тогда я понял.

Откуда-то из-под потолка, а может, уже и сквозь него я смотрел на бедную дурочку, которая из пустого гонора искалечила жизнь себе, а не ровен час, и нашему сыну. Как она оторопело смотрит на мой труп. Как роняет из ослабевших пальцев наган, которым так кстати снабдил меня четверть века назад ее отец, и тот беззвучно и медлительно, точно бумажный, порхает на пол. Как начинает кусать кулак и, похоже, кричать.

И странно, мне уже не было до нее никакого дела.

Нажав на спусковой крючок, она убила не меня, а мое сострадание. Мою отчаянную благодарность за каждый ее заботливый стежок на саване жизни, за каждый ломтик рая, который мы делили на двоих совсем не в раю. Мое чувство вины перед ней за то, что я не всемогущ, что мир мне не покорен, а от изменений в себе, вот таких, например, как от этой пули, я и себя-то спасти не могу, не то что ее. Мое желание быть вечно вместе, несмотря ни на кого и ни на что; мою, наверное, самонадеянную, но искреннюю, как у ребенка, надежду всегда прикрывать ее хоть сверху, от железных творений человеческих умов и рук, хоть снизу, от холода ждущей нас всех земли. Теперь я был совершенно свободен и мог делать все, что хочу.